

СЕРГЕЙ СОРОКИН



ТОМ 7

**КОМАНДИР
БОМБАРДИРОВЩИКА**



Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 7

«Автор»

2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 7 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года. У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин. Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	15
Глава 3	25
Глава 4	31
Глава 5	38
Глава 6	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 7

Глава 1



— Ничего у вас лишнего, — говорит Плешаков. — Я всё облазил. У вас в хвосте лежат две струбцины ещё с Кагула, это восемь кило, и я их сниму. Остальное — по делу.

— Тогда я иду с этим и буду аккуратен на взлёте.

— Вот именно. — Плешаков подчёркивает что-то в бумаге. — И имейте в виду: у вас полоса раскисшая, разбег длиннее, и хвост у вас тяжелее обычного. Не тяните её раньше времени, она вас не простит.

— Плешаков.

— Что?

— Вы мне это уже третий раз говорите.

— И четвёртый скажу, — отвечает он невозмутимо. — Я вам это буду говорить, пока вы один раз не поднимете её раньше и не испугаетесь. После этого перестану.

Он возвращается к бумаге.

— А по остальным? — спрашиваю.

— По остальным нормально, — говорит Плешаков. — По вам, по Рябову и по восьмому. А вот четвёртый борт у меня с перегрузом на девяносто килограммов.

— Чем?

Плешаков молча показывает карандашом.

У четвёртого борта местной группы, не того, который Полетаев оставил на воде, стоит лейтенант Гуров с наземным мотористом, и между ними на земле — большой деревянный ящик и автомобильная камера, свёрнутая восьмёркой.

— Здравствуйте, — говорю я.

— Здравия желаю.

— Что за ящик?

Гуров смотрит на меня, потом на Плешакова, потом опять на меня, и по лицу видно, что этот разговор у него сегодня не первый.

— Инструмент, товарищ старший лейтенант.

— Какой инструмент?

— Всякий. Ключи, ножовка, свёрла. Домкратик малый.

— Камера зачем?

— Камера... — Он мнётся. — На всякий случай.

— Гуров.

— В сентябре мы трое суток на запасной сидели, — говорит он быстро, будто боится, что перебыют. — Трое суток. Прилетели — там поле, две землянки и старшина. Ничего нет. Мы колесо спустили при посадке, и всё, стоим. Пока из полка добрались, пока то, пока сё. Я тогда на этот ящик сменял свои часы.

Он замолкает.

Плешаков стоит рядом и молчит.

И я понимаю, что это тот момент, когда очень легко всё испортить.

Потому что формально всё просто: девяносто килограммов — это почти лишняя сотка, и лишняя сотка в горловине лучше, чем ящик с ключами. Формально надо сказать: снять, и точка.

И он снимет.

А через неделю поставит обратно и не скажет.

— Плешаков.

— Я.

— Покажите расчёт.

Плешаков подходит с бумагой.

— Вот. — Он показывает Гурову. — Вот твоя масса. Вот твой запас топлива на маршрут с запасной площадкой и получасом ожидания. Вот бомбы. Вот твои девяносто.

— Я понимаю, что девяносто, — говорит Гуров. — Я не первый год.

— Ты дальше смотри. — Плешаков водит карандашом. — Твои девяносто лежат где? В хвостовой части, у люка. Не в центре. Ты мне центровку тянешь назад на столько-то. И у тебя на взлёте с этой полосы, которая после дождя, машина пойдёт по-другому. Ты в прошлый раз на взлёте её как держал?

Гуров молчит.

— Как держал? — повторяет Плешаков.

— Тяжело шла, — признаёт Гуров. — Я думал, полоса.

— Полоса и ящик.

Пауза.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит Гуров, обращаясь ко мне, потому что с Плешаковым спорить бесполезно. — А если я его вперёд переложу?

— Тогда ты его в бомболюк положишь, — говорит Плешаков. — Или мне на колени.

Я подхожу к ящику и поднимаю крышку.

Внутри всё аккуратно. Ключи в тряпичных карманах, свёрла в жестянке из-под леденцов, ножовка обернута промасленной бумагой. Человек этот ящик любит.

— Гуров.

— Я.

— Что вы боитесь потерять?

Он не понимает вопроса.

— В каком смысле?

— В прямом. Вы боитесь снова сидеть трое суток на запасной? Или боитесь, что если снимете ящик, то через неделю его не найдёте?

Гуров открывает рот и закрывает.

— И то, и то, — говорит он наконец.

— Вот. — Я опускаю крышку. — Первое я вам решить не могу. Может, вы опять сядете на запасную, и там опять не будет ничего. Война. А второе я вам решу за десять минут.

— Как?

— Берите ящик.

Я нагибаюсь, подхватываю грязную камеру и зажимаю под мышкой. Гуров берёт ящик за обе ручки; идём к кладовой вместе.

Кладовая — землянка с двойным накатом, в которой сухо, потому что Сотников следит за этим больше, чем за собственным здоровьем. Там стоят стеллажи из ящичной доски, и на каждой полке бирки.

— Сотников.

— Здесь.

— Место на четвёртой полке есть?

— Есть. — Он смотрит на ящик в руках у Гурова и на камеру у меня под мышкой. — А это чьё?

— Это лейтенанта Гурова, борт четвёртый. Сдаёт на хранение на время боевой работы. Сотников берёт свою тетрадь.

— Опись нужна.

— Составим.

И мы составляем.

Это занимает не десять минут, а сорок, потому что Сотников — человек основательный и требует, чтобы записали не «инструмент», а по позициям. Гуров сначала злится, потом втягивается и начинает диктовать сам, а его механик вспоминает, что там ещё и напильник.

— «Ключи гаечные разные, двенадцать», — пишет Сотников. — «Ножовка по металлу с полотном, одна». Полотно запасное есть?

— Два.

— «Полотно запасное, два».

Когда опись готова, Сотников отрывает от тетради второй лист и подаёт Гурову.

— Расписка. Храните.

Гуров берёт бумажку, смотрит на неё и вдруг смеётся.

— Вы чего?

— Да ничего, — говорит он. — Я эту камеру из-под Луги вывез. Она у меня третий месяц ездит. А теперь у неё расписка.

— Радуйтесь, — говорю я. — У камеры документов больше, чем у меня.

Мы ставим ящик на полку. Сотников привязывает шпагатом бирку: «Гуров, борт 4».

— Товарищ старшина.

— Слушаю.

— Если кто-нибудь придёт и скажет «мне срочно нужен ключ на двадцать два, возьму из этого ящика» — что вы сделаете?

Сотников смотрит на меня как на больного.

— Не дам.

— А если начальник придёт?

— Начальник пусть свой ящик заводит.

— Вот это я и хотел услышать, — говорю я. — Гуров, слышали?

— Слышал.

На выходе он меня догоняет.

— Товарищ старший лейтенант.

— Ну?

— Я про другое хотел спросить. — Он оглядывается. — Тут разговор был, что после вылета машины разгрузят и всё лишнее...

— Какое лишнее?

— Ну, аварийное. Что, мол, тоже вес.

Я останавливаюсь.

— Кто говорил?

— Да так... говорят.

— Гуров, слушайте меня внимательно, и передайте своим слово в слово. Из машины снимается только то, что можно снять. Топор, пила, ракетница, аптечка, неприкосновенный запас, сигнальные патроны и всё, что нужно человеку, чтобы выжить после вынужденной, — не снимается никогда. Ни за какие килограммы.

— А если...

— Никаких «если». Если мне понадобится сто килограммов, я пересчитаю маршрут и нагрузку. Горючее ниже нужного на возвращение тоже не трогаем. Но не в том, чем вы будете спасаться в лесу.

Гуров кивает.

— Понял.

— И ящик ваш — не аварийное снаряжение, — добавляю я. — Ящик ваш — это привычка. Хорошая, но тяжёлая.

Про ужин мне сообщает Лида, и сообщает в своей манере: она не просит, она ставит перед фактом.

Я нахожу её у санчасти. Она сидит на ступеньке, держа обеими руками кружку, и на коленях у неё лежит раскрытая тетрадь, в которую капает с козырька.

— Ковалёва, у тебя тетрадь мокнет.

— Пусть мокнет. — Она не двигается. — Иванов, у меня к тебе дело.

— Слушаю.

— Ужин.

— Что ужин?

— Ужин у вас плохо устроен, — говорит Лида. — И я, видимо, единственный человек на этом аэродроме, который это видит, потому что все остальные едят вовремя.

Я сажусь рядом на ступеньку. Колено благодарит.

— Объясни.

— Объясняю. Ужин в девятнадцать. В девятнадцать у вас на стоянках заканчивают подвеску и заправку. Кто идёт есть? Лётчики. Штаб. Связисты. Те, у кого смена кончилась.

— А кто не идёт?

— А не идут оружейники, мотористы, электрики и, как правило, двое-трое из планерной группы. Потому что у них в девятнадцать самое горячее.

— Они приходят позже.

— Они приходят в двадцать один тридцать, — говорит Лида. — И знаешь, что они получают?

— Что?

— Ничего. Или холодное со дна. Бутко котёл к двадцати одному уже вымыл, потому что ему в пять вставать.

Я молчу.

На Кагуле мы уже сохраняли еду дежурным, и первый ужин под навесом делили по сменам. После новых прибытий это снова рассыпалось: людей стало больше, а повар продолжил считать один котёл на один час.

— Откуда ты это взяла? — спрашиваю.

— Из своего журнала. — Она хлопает по мокрой тетради. — За три недели у меня девять обращений с болями в желудке. Семь из девяти — техники. Один случай с обмороком у моториста, который восемнадцать часов на ногах и с утра только хлеб.

— Кто?

— Не скажу.

— Ковалёва.

— Не скажу, — повторяет она спокойно. — Ты его пожалеешь, а он не хочет, чтобы его жалели. Он хочет, чтобы был ужин.

Я сижу и смотрю на поле.

По полю, увязая, тащат тележку с подвесками двое, и один из них уже сейчас, в четыре часа дня, идёт так, как ходят к концу смены.

— Что предлагаешь?

— Разделить.

— Как?

— Просто, — говорит Лида. — Первая раздача в восемнадцать. Для тех, кто уходит в ночь: лётные экипажи, дежурная смена. Им есть заранее, а не перед взлётом, ты сам говорил.

— Говорил.

— Вторая раздача — обычная, в девятнадцать тридцать. Для всех, кто освободился.

— А третья?

— А третьей нет. Есть сохранённые порции. — Она поворачивается ко мне. — Вот это главное. По списку тех, кто работает на стоянках, Бутко откладывает порции и держит горячими. Не в котле — в бачке на плите. И выдаёт их не «если останется», а по фамилиям, когда человек пришёл. Хоть в двадцать два, хоть в двадцать три.

— Он взвоят.

— Он взвоят, — соглашается Лида. — Поэтому пойдёшь ты.

Бутко воет.

Он воет ровно так, как я ожидал, и предъявляет три аргумента, из которых два — чистая правда: горячее держать не в чем, людей на раздачу нет, и никто ему не скажет заранее, сколько порций откладывать.

Первый аргумент я убиваю термосами — их три, они пустые, их отдаёт Лида, и это, между прочим, не пустяк: она отрывает их от санчасти.

Второй — тем, что раздавать будет не он, а дежурный по стоянкам, тот, кто и так там сидит.

А третий не убивается.

— Скажите мне список! — кипятится Бутко. — Вы мне скажите точно: сколько душ, и я на них отложу. А то вы мне скажете двадцать, я отложу двадцать, придёт тридцать, и что?

— Точно не скажу, — говорю я.

— Вот!

— Точно скажет Плешаков, — говорю я. — Каждый вечер в семнадцать он даёт вам число людей, которые остаются на стоянках после девятнадцати. По фамилиям. Если он ошибётся, отвечает он, а не вы.

Бутко задумывается.

— По фамилиям — это другое дело, — говорит он. — По фамилиям я могу. Я и добавки тогда знаю кому.

— Вот и договорились.

— А кто бачки мыть будет?

— Тот, кто ест последним.

Бутко впервые за разговор выглядит довольным.

В первый же вечер новый порядок проверяют на прочность, и проверяет его Климов.

Он приходит в девятнадцать десять — то есть между раздачами, — подходит к раздаче и обнаруживает, что котёл накрыт и у котла никого.

Я в это время сижу метрах в десяти, на бревне, и доедаю свою порцию из первой раздачи.

— Это как понимать? — говорит Климов.

Он говорит это негромко, но с тем особым металлом, который у усталого человека появляется мгновенно, когда его лишили еды.

— Товарищ Климов, — говорит Бутко из-за котла. — Вторая раздача в девятнадцать тридцать.

— А сейчас сколько?

— Сейчас десять минут восьмого.

— Двадцать минут, — говорит Климов. — Мне надо двадцать минут стоять?

— Или подойти через двадцать минут.

— Я через двадцать минут буду занят. Я сейчас свободен!

И вот тут у меня внутри загорается лампочка «сейчас скажу что-нибудь резкое», и я уже приподнимаюсь с бревна.

Но меня опережают.

— Иван Матвеевич, — говорит Федя.

Он подошёл сбоку, с котелком, и стоит спокойно.

— Что?

— Гляньте туда.

Он показывает котелком в сторону стоянок.

Климов смотрит.

От четвёртого борта к кухне идут четверо. Идут медленно. Один вытирает руки ветошью на ходу, у двоих на руках ещё замасленные рукавицы — брезентовые краги, чёрные от масла до локтя.

— И что?

— А то, что они с девяти утра, — говорит Федя. — И они сейчас не едят идут. Они идут воду взять и обратно, у них ещё подвеска. Едят они будут в половине одиннадцатого, когда сдадут машины.

— И?

— И им Бутко порции держит. Вот в этом бачке, на плите. — Федя кивает на бачок. — Если вы сейчас возьмёте, то возьмёте из него, потому что общий котёл до девятнадцати тридцати накрыт, а от первой раздачи остались только отложенные техникам порции.

Климов стоит и смотрит на четверых.

Они подходят к бочке с водой, один снимает крагу, зачерпывает, пьёт, отдаёт кружку следующему. Никто из них на кухню даже не смотрит.

— Понял, — говорит Климов.

— Вы через двадцать минут поедите, — говорит Федя. — Со всеми.

— Да понял я, понял. — Климов трёт лицо ладонью. — Извините. Я с восьми на макете, у меня в голове помутилось.

И дальше он делает вещь, которая мне в нём очень нравится.

Он не уходит обиженно ждать свои двадцать минут. Он подходит к бочке, берёт второе ведро и говорит:

— Куда нести?

— К четвёртому, — говорит один из механиков, не сразу сообразив, кто перед ним.

И Климов, в железнодорожной шинели, несёт ведро воды через всё поле.

За столом второй раздачи разговор всё-таки заходит про макет, но не так, как я боялся.

Я боялся, что будет лекция. У меня была такая опасность: Климов вошёл во вкус, у него много знаний, а у людей вечером мало сил сопротивляться, и очень легко превратить ужин в занятие.

Но начинает не он.

Начинает Сомов, который приходит ко второй раздаче и садится с краю.

— Товарищ старший лейтенант, а правда, что вы нарочно свернули?

— Правда.

— А вы заранее решили или по ходу?

— Заранее.

— А если бы вас не остановили?

— Дошёл бы до тупика и объявил бы, что там цель.

— И?

— И вы бы все сделали правильный вывод, — говорю я. — Только неправильно бы его сделали: решили бы, что командир дурак.

За столом смеются.

— А вы не дурак? — спрашивает кто-то нахально, и я не вижу, кто именно, и по голосу не узнаю.

— Я — по расписанию, — говорю я. — В основном ночью, после двух.

Смеются громче.

Климов сидит напротив со своей эмалированной кружкой и вдруг говорит:

— А я сегодня узнал, что двадцать лет писал мелом.

— Чего?

И он рассказывает — про ящик с буквой «п», про то, как Сомов нашёл горловину по белому пятнышку, и как он этот ящик сам поставил и сам же чуть всех не обманул.

И рассказывает хорошо: коротко, на себя, без морали в конце.

Сомов сидит красный.

— Так я, значит, и во второй раз не сам нашёл?

— Не сам, — говорит Климов. — Зато теперь найдёшь сам, потому что я подсказку унёс.

— Обидно.

— Ничего не обидно. — Климов отпивает из кружки. — Мне обиднее. Я всю жизнь думал, что у меня в голове станция. А у меня в голове график.

— А это не одно и то же?

— Нет, — говорит Климов. — График — это когда я знаю, где какой поезд в любую минуту. А станция — это когда ты её видишь.

Он ставит кружку.

— Я вам сейчас скажу одну вещь, и вы её, наверное, не поймёте.

— Скажите.

— Я на своей станции ни разу не был на крыше.

Молчание.

— Двадцать лет, — говорит Климов. — Здание конторы двухэтажное, есть чердак, есть слуховое окно. Оттуда всю станцию видно. Я ни разу не поднялся.

— Почему?

— Некогда было, — говорит Климов. — Всё некогда.

Он усмехается.

— Вернусь — поднимусь.

После ужина Литвинов не уходит.

Он остаётся у печки и делает то, что обещал в первый день: раскрывает клеёнчатую тетрадь Климова и садится над ёлочкой.

Я собираюсь идти к Лиде, но задерживаюсь — сначала на минуту, потом на десять, потому что смотреть, как эти двое разговаривают, интереснее, чем спать.

— Иван Матвеевич, вот эта линия.

— Это сборный.

— Почему у неё внизу ступенька?

— Стоянка, — говорит Климов. — Он тут стоит двадцать минут. Ждёт, пока пройдёт встречный по главному.

— А эта, крутая?

— Это порожняк. Он лёгкий, он быстрый.

Литвинов ведёт пальцем.

— То есть чем круче линия, тем быстрее поезд.

— Тем быстрее.

— А если я вам горловину порву, что станет с этими линиями?

Климов берёт карандаш и, не спрашивая разрешения, чертит прямо в своей тетради вертикальную черту поперёк всей сетки.

— Вот это ваш удар.

Дальше он рисует, и рисует быстро, привычной рукой.

Все наклонные линии, которые шли к станции, упираются в вертикаль и ломаются: они превращаются в горизонтали. Поезд не движется — он стоит. Горизонталь тянется вправо, вправо, вправо, и чем дальше, тем таких горизонталей больше, и они ложатся друг под другом, как доски в штабеле.

— Вот, — говорит Климов. — Вот что такое ваша горловина.

Литвинов смотрит на эти горизонтали довольно долго.

— Их семь, — говорит он.

— Чего семь?

— Поездов, которые встанут в первые три часа. Я посчитал по вашей сетке.

— Восемь, — говорит Климов. — Вы один пропустили, он тут за обрезом.

— А где они встанут?

— Вот тут и тут. На подходах, на промежуточных. — Климов ставит крестики. — И вот это самое поганое для них, между прочим.

— Почему?

— Потому что поезд, который стоит на перегоне, никому не мешает только в учебнике. А на самом деле он занимает путь, и следующий за ним встанет перед ним, и на этой станции уже негде принимать.

Литвинов кладёт карандаш.

— Иван Матвеевич.

— Ну?

— У меня вопрос не про них. Про нас.

— Спрашивайте.

— Почему семь минут?

Климов не понимает.

— Каких семь минут?

— Разнос между нашими группами, — говорит Литвинов. — Нам задано разнести удары по времени. Число выбирали мы с командиром. Взяли семь, потому что за пять дым не садится, а за десять они успевают опомниться. Взяли, в общем, из воздуха.

— Из какого воздуха, — говорит Климов. — Считать надо.

— Вот и посчитайте.

И Климов считает.

Это занимает у него минут двадцать, и я за эти двадцать минут сажусь обратно на скамью и никуда не иду.

Он считает не так, как считал бы я. Я бы считал от нас: от захода, от разворота, от расхода топлива. Он считает от них.

— Значит, так, — говорит он наконец. — Что происходит у них после первого удара?

— Скажите.

— Первое: дежурный по станции даёт сигнал, и всё, что может двигаться, растаскивают. Паровозы уводят с путей, что успевают. Это минуты три-четыре.

— Дальше.

— Второе: аварийная команда выходит к горловине. Не восстановительный поезд, его ещё вызвать надо, а своя команда, с фонарями. Это ещё минут пять.

— То есть через восемь минут у горловины люди.

— Через восемь-десять, — уточняет Климов. — И вот тут смотрите, что получается. Если вы второй удар кладёте через семь минут, вы кладёте его в тот момент, когда они уже вылезли из укрытий, но ещё не начали работать.

— И?

Климов молчит.

— Иван Матвеевич.

— Я вам как железнодорожник скажу, — говорит он неохотно. — Там будут мои. Не немцы. Там на насосной сидит машинист насосов, и он, скорее всего, местный, и он никуда не уйдёт, потому что ему не разрешат уйти.

Литвинов смотрит в печку.

— Я понимаю, — говорит он.

— Ничего вы не понимаете. — Климов закрывает тетрадь. — Вы понимаете головой, а я этого человека, может быть, знаю по фамилии. У нас дорога тесная.

Тишина.

— Тогда давайте посчитаем иначе, — говорю я.

Оба поворачиваются ко мне.

— Вы сказали: через восемь-десять минут у горловины люди. У горловины, не у насосной. Значит, если мы кладем по насосной на седьмой минуте, то там ещё никто не собрался — все побежали туда, где рвануло.

Климов думает.

— Верно, — говорит он. — На насосной ночью один-два человека. Они после первого удара, скорее всего, выйдут посмотреть, а не спрячутся. Дураки все.

— Тогда не семь, — говорит Литвинов. — Тогда пять.

— Почему пять?

— Потому что на пятой минуте они ещё внутри или только вышли за дверь, — говорит Литвинов медленно. — А на седьмой они уже стоят на улице и смотрят в сторону пожара.

Климов смотрит на него.

— Вы серьёзно сейчас это считаете?

— Совершенно серьёзно.

— Из-за двух человек?

— Из-за двух человек, — говорит Литвинов. — Что вас удивляет?

Климов молчит, потом отворачивается к печке и говорит, обращаясь скорее к огню:

— Меня удивляет, что я это услышал от лётчика.

— А что вы ожидали услышать?

— Что бомба — она бомба, и нечего.

— Такое тоже говорят, — соглашаюсь я. — И иногда это правда, потому что выбора нет.

— А сейчас есть?

— Сейчас нет, — говорю я.

Оба поворачиваются.

— Аркадий, ты про выход первой группы забыл.

Литвинов останавливает карандаш.

И я вижу по его лицу, как он сам доходит за две секунды.

— Разведение маршрутов, — говорит он.

— Именно. Замедление наших взрывателей короткое, для заглубления в балласт. Минут из него не получить. А вот мы с ведомым уходим не мгновенно. Если ему придётся перестроить второй заход, на пятой минуте он ещё может оказаться у выхода над рекой.

Литвинов снова разворачивает карту и проводит карандашом оба пути. Там, где они пересекаются, лежит мой локоть; я убираю руку.

— Рябов входит сюда с севера, — говорит он. — При худшем варианте первого захода мы ещё не разошлись по высоте.

— И по земле сработать раньше ради двух человек мы не сможем, если сами столкнёмся над ними в темноте. Мы сейчас должны выбрать нижнюю границу по нашим действительным маршрутам, а не по тому, что хочется обещать Климову.

Глава 2



Он проверяет время ещё раз, затем показывает точку выхода обеих первых машин за реку.

— Семь, — говорит Литвинов.

— Семь. И не потому, что красиво, а потому что раньше нельзя.

— А мои двое на насосной? — спрашивает Климов.

— А ваши двое на насосной, — говорю я, и это самая неприятная фраза за весь вечер, — могут оказаться снаружи или остаться у насосов. Их точного места мы не знаем. И они могут погибнуть от нашего удара.

Тишина стоит долго.

— Значит, считали зря, — говорит Климов.

— Не зря, — говорит Литвинов, и он уже пишет. — Мы теперь знаем, что семь — это не «примерно семь». Это нижняя граница, ниже которой нельзя по своим. Если нам завтра кто-нибудь скажет «а давайте через три», мы будем знать, что ответить.

— И записываешь ты что?

— Обе причины, — говорит Литвинов. — Почему не меньше семи — из-за расхождения групп на возможном повторном заходе. И почему это плохо — из-за людей на насосной.

— Вторую зачем?

— Затем, что если нам удастся развести группы другими маршрутами, надо будет вспомнить, ради чего мы вернёмся к пяти.

Климов следит за его рукой.

— И это останется? — спрашивает он.

— Останется.

— А если кто прочтёт и скажет, что вы жалеете чужих?

— Тогда я скажу, что жалею своих, — говорю я. — Потому что экипаж, который не считает людей на земле, через полгода перестаёт считать и себя.

Климов долго молчит.

— Поздно, — говорит он наконец, поднимаясь. — Мне в шесть звонить.

В половине одиннадцатого я прихожу к кухне снова.

Я прихожу не за едой. Я прихожу посмотреть.

У кухни горит керосиновый фонарь, прикрытый с трёх сторон. Бутко стоит у бачка, а перед ним пятеро: те четверо и ещё один, электрик.

— Мошкин, — читает Бутко по бумажке. — Твоя.

Он накладывает.

Мошкин берёт миску обеими руками и первым делом делает то, что делает всякий человек, получивший горячее после четырнадцати часов: подносит к лицу и дышит паром.

Он не ест. Он сначала греется об неё.

Я стою в темноте за углом кухни и смотрю на это дольше, чем следовало бы.

Потому что вот этого мне за все мои годы так и не удалось объяснить ни одному проверяющему: что боеготовность — это не цифра в сводке, а вот этот моторист, который в половине одиннадцатого ночи держит горячую миску и завтра будет соображать головой, а не плавать в тумане.

— Товарищ старший лейтенант? — Бутко заметил меня. — Вам положить?

— Мне не надо, я ел.

— Так вы чего стоите?

— Смотрю, как работает.

Бутко хмыкает и наливает следующему.

— Работает, — говорит он. — Только бачки они плохо моют.

Чай я приношу Лиде ближе к одиннадцати, в котелке, накрытом перевернутой миской, чтобы не остыл.

У неё в санчасти горит лампа, и через щель в двери видно, что она не одна.

Я стучу.

— Входите.

За столом сидят двое: Лида и санитар Никифоров — пожилой, лысоватый, с руками, которые все на этом аэродроме знают, потому что он умеет так завязать повязку, что она не сползает.

Он сидит, ссутулившись, положив локти на стол, и у него закрываются глаза прямо на ходу.

— Я не вовремя, — говорю я.

— Вовремя, — говорит Лида, не поднимая головы от бумаги. — Садись, я передачу допишу.

Я сажусь на третий табурет.

Лида пишет. Никифоров сидит.

Я ставлю котелок на стол и снимаю миску. Идёт пар.

Никифоров отрывает голову от сложенных на столе рук.

— Чай? — говорит он.

— Чай.

— Ох ты.

Лида дописывает строчку, потом поднимает голову.

— Кружек три? — спрашивает она.

И вот тут я успеваю сделать глупость наполовину: я успеваю подумать «я не буду, я так посижу», и даже начинаю открывать рот.

Лида смотрит на меня.

— Три, — говорю я.

— Вот и правильно.

Она достаёт третью кружку — эмалированную, с отбитым краем, — и разливает.

Мы сидим и пьём.

Чай, честно говоря, так себе: заварки мало, зато горячий, и в нём, кажется, есть сушёная малина, потому что пахнет летом.

— Нашла бельё, — говорит Лида.

— Где?

— В Волхове, на складе. Там эвакогоспиталь разворачивали и не развернули, ушли дальше, а склад остался. Я туда захоза послала с бумажкой.

— Много?

— Сорок комплектов. — Она греет руки о кружку. — Иванов, ты не понимаешь. Сорок комплектов чистого белья.

— Понимаю.

— Не понимаешь. — Она смотрит на меня поверх кружки. — Я твоих лётчиков в чистое кладу. Твои лётчики приходят с ожогами, а у меня простыня, которая до них на трёх других была.

— Теперь не будет.

— Теперь месяц не будет.

Никифоров молча кивает, не открывая глаз.

— Как Пахомов? — спрашивает Лида у него.

Никифоров отвечает, не поднимая головы от кружки.

— Спит. Рыбий жир пил, ругался.

— Пусть ругается.

— Кто такой Пахомов? — спрашиваю я.

Лида ставит кружку.

— Стрелок из второго звена. Девятнадцать лет. Куриная слепота.

— Серьёзно?

— Серьёзно. — Она говорит это сухо, как говорят про надоевшее. — Днём видит как все. В сумерках — как через муть. Ночью ничего. И летал так две недели.

— Как две недели?!

— А вот так. Скрывал. — Лида пожимает плечами. — Он же не полный слепой. Он в кабине по памяти всё делает, наощупь, а ориентиры... ориентиры ему стрелок из соседней кабины называл, по дружбе.

Я откидываюсь к стене.

— Мальчишки, — говорю я.

— Мальчишки.

— И что теперь?

— Теперь он снят. Рыбий жир, печёнка, когда достану. Через три недели проверю. — Она смотрит на меня. — А его командир ко мне ходит через день и объясняет, что у него некомплект.

— Кто командир?

— Не скажу.

— Ковалёва!

— Не скажу, — говорит она с удовольствием. — Иванов, ты сейчас пойдёшь и сделаешь ему втык, а он тебе потом отомстит другому моему больному. Я эту механику знаю.

Я молчу, потому что она права и это раздражает.

— Слушай, — говорю я. — А Пахомов сейчас чем занят?

— Ничем. Лежит и злится.

— Дай его мне.

Лида поднимает бровь.

— Куда?

— На макет. — Я подаюсь вперёд. — У нас там станция из верёвок. По ней ходят ночью. Нужен человек, который будет держать хронометраж, ставить людей на старт и записывать, кто где свернул.

— Он ночью не видит.

— А ему не надо видеть. Ему надо слышать счёт и смотреть на часы под колпаком с двадцати сантиметров. Это он может?

Лида думает.

— Может, — говорит она. — С двадцати сантиметров может.

— Вот и отлично. Он будет при деле, на виду, и все будут знать, что он занят работой, а не отсиживается. Через три недели ты его проверишь, и он вернётся в кабину не как выздоровевший симулянт, а как человек, который три недели учил других.

Никифоров разминает натруженные пальцы и произносит:

— Это хорошо.

— Что хорошо?

— Ему сейчас стыдно, — говорит Никифоров. — А будет дело — стыд пройдёт. Стыд, он от безделья толстеет.

Лида смотрит на санитаря, потом на меня.

— Ладно, — говорит она. — Забирай. Но если он у тебя будет по ночам мёрзнуть на бугре и я его потом с воспалением получу, я тебя...

— Он будет сидеть в укрытии с фонарём.

— Под колпаком.

— Под колпаком.

Она записывает что-то в свою тетрадь.

— И ещё, — говорю я. — Я тебе завтра принесу расписание нагрузок на неделю.

— Какое расписание?

— Кто когда летает. Какие экипажи в ночь, какие в резерве, когда у кого пересменка.

И у техников тоже.

Лида откладывает карандаш.

— Зачем мне?

— Мы договаривались сообщать тебе задачу до вылета, и это остаётся. Теперь добавим недельную нагрузку: по одному рейсу не видно, что человека гоняют несколько ночей подряд. — Я допиваю чай. — Если ты будешь знать заранее, что в среду и четверг подряд идут одни и те же три экипажа, ты сможешь сказать это не мне, а Гордееву. И не жалобой, а расчётом.

— Он послушает?

— Он послушает расчёт. Жалобу не послушает.

Лида молчит, потом говорит:

— Иванов, ты только не решай за меня, когда мне спать.

— Не буду.

— Ты уже собирался.

— Собирался, — признаю я. — Но не буду.

— Вот и хорошо. — Она встаёт, гремит чем-то на полке, возвращается. — Держи.

В руке у неё — свёрточек из марли.

Я разворачиваю.

Ложка. Обыкновенная алюминиевая ложка, вымытая до блеска, с процарапанной на черенке зарубкой.

— Это что?

— Это ложка, — говорит Лида. — Ты свою потерял на прошлой неделе и с тех пор ешь чужими.

— Я не потерял, я...

— Ты её оставил в санчасти, когда кормил Никифорова с ночной смены, и с тех пор она тут валяется. Я её прокипятила.

Никифоров слабо усмехается.

— Было дело, — подтверждает он. — Кормил.

Я сижу с ложкой в руке и почему-то не знаю, что сказать.

— Иванов, — говорит Лида. — Не надо делать такое лицо. Это ложка, а не признание в любви.

— Я и не делаю.

— Делаешь.

— Ковалёва, я себя уже стариком чувствую, — говорю я и убираю ложку.

— Стариком?

— После этих ночей с макетом — именно так.

Лида смотрит на меня очень долго.

— Иди спать, — говорит она наконец. — У тебя, по-моему, уже сон за несколько ночей набрался.

Заключительное упражнение мы проводим в четвёртую ночь подготовки, и Климов устраивает нам сюрприз.

Он делает это честно: предупреждает, что сюрприз будет, но не говорит какой.

— На макете вы теперь ходите хорошо, — говорит он днём. — Даже слишком хорошо. Вы его выучили.

— И что?

— И то, что настоящая станция вам подсунет то, чего в макете нет.

Ночь тихая. Ветер сдох к вечеру, небо в высоких разрывах, температура около нуля, и глина, наконец, схватилась коркой, по которой можно ходить, не теряя сапог.

Мы приходим к макету, и я сразу вижу, что там что-то новое.

Вдоль главного хода, шагах в сорока за горловиной, стоит цепочка огоньков.

Их семь. Они прикрыты — видны не сами язычки, а слабые пятна света, — и стоят ровным рядом с одинаковыми промежутками.

— Ага, — говорит Тимка немедленно. — А вот и приманка.

— Что? — говорю я.

— Ложный состав, товарищ старший лейтенант. — Он говорит быстро, довольно, как человек, который первым решил задачу. — Огни ровные, интервал одинаковый. Настоящий состав так не светит. Приманка.

Наступает пауза.

— Журавлёв, — говорит Литвинов.

— Я.

— Ты только что сделал то же самое, что Сомов в первую ночь.

Тимка осекается.

— Как это?

— Дошёл до конца и принял то, что нашёл. — Литвинов поворачивается к огням. — Ты назвал первый признак: ровный интервал. Хороший признак. Настоящий поезд ночью так не светится, тут ты прав. А теперь второй.

— Какой второй?

— Любой. Который не вытекает из первого.

Тимка молчит.

Я стою и молчу тоже, хотя мне очень хочется подсказать, потому что подсказать — это всегда быстрее.

— Ну... — говорит Тимка. — Ну они стоят.

— Откуда ты знаешь, что стоят?

— Так они же...

— Ты на них смотришь сорок секунд, — говорит Литвинов. — Поезд, который идёт двадцать километров в час, за сорок секунд пройдёт двести метров. Ты бы это заметил?

— Заметил бы.

— Относительно чего?

Тимка открывает рот, чтобы ответить, и не отвечает.

Потому что относительно чего — вот это и есть вопрос. В темноте, где нет ничего, кроме этих семи пятен, движение не с чем сравнить.

— Не знаю, — говорит он.

— Вот, — говорит Литвинов. — Теперь докладывай правильно.

Тимка думает секунд пять.

— Наблюдаю цепочку из семи огней, ровный интервал, — говорит он. — По интервалу похоже на ложный состав. Второго признака нет. Доклад: не подтверждено.

— Вот, — говорит Литвинов. — А теперь получай второй признак.

— Как?

— Работай. Ты радист или кто?

И Тимка начинает работать.

Он делает это хорошо, и я стою и смотрю с удовольствием, которого не показываю.

Сначала он находит опору: определяет, где у него бочка-башня, силуэт которой виден на фоне неба, и встаёт так, чтобы крайний огонь оказался точно под ней.

— Створ есть, — говорит он. — Крайний правый огонь под башней. Засаекаю.

Он засекает. Он вслух считает секунды — привычка, которую я в нём и воспитывал, и которая теперь работает сама.

— Двадцать... тридцать... сорок... шестьдесят.

— Ну?

— Стоит, — говорит Тимка. — Крайний правый как был под башней, так и есть. За минуту не сдвинулся.

— Дальше.

— Дальше... — Он щурится. — Дальше по положению. Товарищ старший лейтенант, они не на путях.

— Точнее.

— Главный ход у нас вот, — он показывает рукой в темноту, где лежат верёвки. — А они правее на два шага. То есть по схеме — примерно на сто восемьдесят метров. Они в поле.

— Уверен?

— Сейчас.

Он идёт вдоль верёвки, ведя по ней рукой, отсчитывая, потом останавливается и возвращается.

— Уверен. Они за путями, в стороне. Между ними и путями пусто.

— Доклад.

— Наблюдаю семь огней, ровный интервал, неподвижны в течение минуты, расположены вне путей на удалении около ста восьмидесяти метров. Вывод: ложный объект. Признаков два, независимы.

Из темноты раздаётся голос Климова:

— Три.

— Что три?

— За третью подсказку я число огней оставил, — говорит Климов. — Только доказательством отдельно его не считайте.

— Какой?

— Их семь.

Молчание.

— И что? — говорит Тимка.

— Для длинного светящегося состава огней мало, — говорит Климов. — Но число само по себе не доказывает приманку: часть может быть закрыта. Здесь решает то, что ты проверил пути. Семь костров в поле не превращаются в эшелон от того, что выстроены ровно.

Тимка стоит.

— Вот это признак, — говорит он с уважением.

— Это не признак, — ворчит Климов. — Это арифметика.

— Иван Матвеевич, а настоящий состав ночью — он какой?

И Климов рассказывает.

Он рассказывает минуты три, и это те три минуты, ради которых, в общем, его и привезли.

Про то, что состав ночью — это почти ничего. Что светомаскировка на дороге строгая и что единственное, что действительно светится, — это топка, когда кочегар открывает дверцу, и тогда снизу под паровозом на секунду ложится красное пятно и дым подсвечивается изнутри. Что из трубы идут искры, и на подъёме, при форсировке, их бывает много, и вот эта дорожка искр — самое заметное, что есть у ночного поезда. Что пар из цилиндров при трогании белый и его видно на тёмном. И что все эти признаки — не в одной точке и не ровной цепочкой, а собраны в одном месте, у головы, и тянутся за ней.

— У поезда огонь один, — говорит он в конце. — И он движется. Ровный светящийся ряд подозрителен. Но стоящий поезд тоже может не двигаться; сверяйте с путями и положением головы.

— А если они паровоз рядом поставят и он будет дымить? — спрашивает Сомов.

— Тогда это будет очень дорогая приманка, — говорит Климов. — Паровоз — штука дефицитная. Но могут. У них есть повреждённые, которые уже не ходят. Такой поставят, подтопят и бросят.

— И как тогда?

— Тогда смотреть, есть ли под ним путь и куда этот путь ведёт. — Климов пожимает плечами. — Товарищ Сомов, я вам не обещаю, что вас нельзя обмануть. Я вам обещаю, что дешевле вас обмануть будет трудно.

Пока идёт эта беседа, Федя отсутствует.

Я замечаю это не сразу, а когда замечаю, иду искать и нахожу его у землянки оружейников, в компании старшины Зубенко.

Перед ними на ящике разложено: ракетница, шесть патронов разного цвета и мятая жестянка.

— Костенко.

— Я.

— Ты чем занят?

— Сигналами, товарищ старший лейтенант.

Я подхожу.

— Докладывай.

— Докладываю. — Федя берёт патрон левой рукой. — Аварийный сбор. Кто стреляет, чем стреляет, когда стреляет.

— И?

— И оказалось, что у нас три разных мнения.

— Как три?

Федя смотрит на Зубенко. Зубенко вздыхает.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит старшина. — Значит, так. По наставлению — одно. Как у нас на Кагуле было — другое. А как тут, на новом месте, до нас делали — третье.

— Конкретно.

— Конкретно: зелёная. — Зубенко поднимает патрон. — У нас перед последним стартом две зелёные означали «полоса свободна», а одиночной сапёр подтверждал приём. А тут зелёная — «сбор у командного пункта».

Я молчу три секунды.

— То есть если сейчас кто-нибудь пустит зелёную, — говорю я, — то одни побегут к КП, а другие станут искать подтверждение свободной полосы.

— Так точно, — говорит Зубенко.

— И давно так?

— С тех пор, как мы сюда пришли. Никто не сверял.

Вот от таких вещей у меня по спине идёт холод сильнее, чем от зенитного огня.

Потому что зенитный огонь я вижу. А это лежит в ящике и ждёт.

— Костенко, ты как обнаружил?

— Я не обнаружил, — говорит Федя. — Я пришёл спросить, сколько патронов мне на борт кладут и какого цвета. А старшина спросил, зачем мне красная. А я сказал, что красная — «вынужденная, ищите здесь». А он говорит: красная — «нападение».

Мы смотрим друг на друга.

— Зубенко.

— Я.

— Сколько времени нужно, чтобы это привести к одному?

— Так это не ко мне, — говорит старшина. — Это приказом надо.

— Приказом и будет. Сейчас вызываем дежурного и получаем единое указание для этой ночи. До этого выдачу по старой памяти прекращаем.

Дежурный приносит действующую таблицу аэродрома и по телефону подтверждает её у Гордеева. Кагульские условные сигналы на новом поле не действуют. Я беру жестянку и переворачиваю её доньшком вверх.

— Пиши углём. Три строки. Что означают цвета сегодня — по подтверждённой таблице, с датой смены. Эту жестянку вешаешь у выдачи. Каждый, кто получает патроны, читает вслух.

— Вслух? — Зубенко морщится.

— Вслух, — говорю я. — Мне не надо, чтоб он прочёл. Мне надо, чтоб он услышал собственный голос. Тогда запомнит.

— А если кто из старых заартачится? Скажет, у нас на Кагуле...

— Скажи, что на Кагуле теперь немцы, — говорю я, и получается резче, чем хотел. — И что с тамошним порядком мы уже попрощались.

Зубенко замолкает.

— Извините, — говорю я через секунду. — Не туда сказал. Просто напиши и повесь.

— Есть.

Федя провожает меня до угла.

— Товарищ старший лейтенант.

— Ну?

— Я вот чего думаю. — Он останавливается. — Мы тут четыре дня макет строили, счёт выверяли, реку копали. По секундам считаем.

— И?

— А чуть не убили на ракетнице.

— Угу.

— Это как так выходит?

Я смотрю на него.

Двадцать один год, правое плечо ещё бережёт, лицо в темноте почти не видно, и голос у него сейчас не стрелка, а человека, который первый раз в жизни увидел, как устроена дыра в системе.

— Выходит так, Федя, — говорю я, — что сложное мы проверяем, потому что боимся. А простое не проверяем, потому что оно простое.

— И что с этим делать?

— Записать.

— Куда?

— В тетрадь Литвинова, — говорю я. — Первой строкой: «проверять простое».

Мы расходимся в третьем часу ночи.

Макет остаётся стоять — колышки, верёвки под навесом, бочка на бревне, плоский ящик у канавы. Завтра по нему пройдёт смена Гурова.

Семь огней Климов гасит сам, обходя их по одному, и я вижу, как пятна света исчезают одно за другим, и последним гаснет крайний правый, который был под башней.

— Иванов, — говорит Климов из темноты.

— Да?

— Я вам сегодня больше не нужен?

— Нет.

— Тогда я утром в шесть пойду звонить.

— Идите.

— Курочкин, наверное, спит уже.

— Разбудите.

— Он, наверное, чего-нибудь напутал, — говорит Климов с мрачным удовольствием.

— Наверняка.

— Ну вот и узнаю.

Он уходит, и я слышу, как он идёт по подмёрзшей глине — уже не выбирая, куда ступить.

Я иду к своей землянке.

За четыре дня мы сделали не так уж много, если считать в предметах: сорок метров верёвки, девять ящиков, канава, одна дверь на кабеле, три термоса, одна жестянка с надписью углём и опись из четырнадцати позиций.

А если считать в другом, то вот что у нас теперь есть.

Есть приказ, в котором ограничение поставлено по двум основаниям сразу, и под ним отдельная подпись человека, который умеет их защищать.

Есть станция, которую двенадцать экипажей прошли ногами в темноте и в которой они сначала все до одного ошиблись.

Есть счёт от моста и счёт от элеватора, и есть понимание, что башню видно, а цель нет, и что башня тебе адрес.

Есть условие по ветру, из-за которого моя красивая схема распалась на две задачи, и от этого стала хуже на вид и надёжнее на деле.

Есть чужой инструментальный ящик на четвёртой полке с биркой и распиской, и есть человек, который не отдаст его начальнику.

Есть моторист Мошкин, который сегодня грел руки о горячую миску в половине одиннадцатого.

Есть мальчишка с куриной слепотой, который завтра будет сидеть под колпаком с часами и записывать, кто где свернул.

И есть жестянка у выдачи с тремя строками, написанными углём, которая, может быть, когда-нибудь не даст кому-то выстрелить не тем цветом.

Ни одна из этих вещей не появится в донесении.

В донесении ещё предстоит написать, что удалось поразить и чем подтверждена задержка движения. А всё остальное останется здесь, в мокрой глине между третьей и четвёртой землянкой.

Я останавливаюсь на полпути и оборачиваюсь.

Макет отсюда не виден совсем, только угадывается силуэт бочки на бревне — чёрное на чуть менее чёрном.

Завтра надо будет спросить у Гордеева, есть ли что-нибудь новое по узлу. Что там за движение, что возят, чего ждать.

Пока — ничего. Разведка молчит уже сутки, и это нормально: узел живёт своей жизнью, поезда ходят, Климовы по ту сторону тоже сидят над своими графиками и что-то планируют.

Мы готовы.

Осталось только узнать, к чему именно.

Глава 3



Разведдонесение приходит за двадцать две минуты до запуска, и приносит его не посыльный, а сам Климов.

Я вижу его издали, от капонира: диспетчер бежит через поле, придерживая под мышкой свою неизменную картонную папку, и бежит он неправильно — грудью вперёд, откинув голову, как бегают люди, которым за сорок и которым лет десять никуда не приходилось спешить. Осеннее поле после дневного дождя держит сапог и не отпускает, и Климов раза два едва не садится в грязь.

— Есть, — выдыхает он, добежав. — Есть движение.

— Спокойно. Отдышитесь.

— Некогда мне отдыхать... — Дыхания на последние слоги не хватает; он останавливается, упирается ладонью в колено. Второй рукой протягивает мне бумажку. — Вот. Передали из штаба, а туда с постов.

Читаю при свете фонаря, завёрнутого в синюю тряпку. Строчек три. Наблюдение с перегона: воинский эшелон в движении, паровоз, состав длинный, крытые и платформы, идёт на восток.

Я смотрю не на строчки, а на цифры внизу.

— Время наблюдения — девятнадцать сорок.

— Вот и я о том же, — говорит Климов, разгибаясь.

Сейчас без четверти двадцать один. Час и пять минут назад.

Мы стоим в темноте у хвоста моей машины, вокруг ходят люди с фонарями, за спиной оружейники заканчивают возиться с подвеской, и мне в эту секунду очень хочется, чтобы диспетчер сказал: он будет там-то во столько-то. Я даже знаю, как это делается, — берётся расстояние, делится на скорость, и на бумаге получается красивое число.

— Климов. Когда он войдёт в узел?

Диспетчер снимает кепку, приглаживает жидкие волосы и надевает обратно. Это у него так выглядит раздражение.

— Товарищ старший лейтенант, вы у меня уже третий раз про это спрашиваете, и я вам третий раз отвечу одинаково. Я вам не скажу когда. Я вам скажу вилку.

— Давайте вилку.

Он раскрывает папку прямо на моём планшете, прижимая листы локтем от ветра. На листе у него — та самая схема узла, с которой мы неделю мучились: горловина, приёмные пути, водокачка, ремонтный тупик, обходная ветка. За эту схему я его и вытащил с его станции.

— Смотрите. Если он шёл, как шёл, и его нигде не держали, он у горловины будет... — карандаш касается бумаги, — примерно через двадцать минут после нас. Это раннее. Теперь позднее. Он на перегоне один не бывает. Ему навстречу идут порожние, у них однопутка вот тут и тут, разъезды. Значит, он стоит. Час стоит, два стоит. Я такое видел сотни раз, и не у немцев видел, а у себя.

— То есть он может вообще не прийти в наше время?

— Может. — Климов смотрит на меня снизу вверх. — А может прийти на двадцать минут раньше, чем вы рассчитали, потому что его пропустили вне очереди, раз он воинский. Понимаете, какая штука: у них есть расписание, и оно у них даже, наверное, хорошее. Но расписание — это не то, что едет. Едет поезд.

Я смотрю на схему. Потом на часы.

Час и пять минут давности. Вилка в полтора часа. И у меня в этой вилке — топливо на маршрут, боевую работу и возврат, и ни грамма сверху, потому что с горючим сейчас так, что Плешаков за каждый литр берёт с людей расписку взглядом.

— Сколько вы себе на поиск закладывали? — спрашивает Климов.

— Двенадцать минут над подходами.

— Многовато.

— Знаю. — Я складываю его схему и возвращаю. — Шесть. Шесть минут, и после этого работаем по тому, что есть, а не по тому, чего хотелось бы.

Климов молчит секунду.

— А если за шесть минут не найдёте?

— Тогда бьём горловину без поезда. Горловина никуда не уедет. — Я застёгиваю планшет. — И вот ещё что, Климов. Я эти шесть минут отрезал от поиска, а не от опознания. Это разное. Искать буду меньше. Бомбить по первому, что похоже на состав, не буду и через шесть минут, и через двадцать.

— Так я вам и не предлагал.

— Вы не предлагали. Мне самому предлагается, вот в чём беда.

Он усмехается — первый раз за весь вечер.

— Это профессиональное, — говорит он. — У меня то же самое. Стоит состав, и так хочется его отправить, что начинаешь верить, будто перегон свободен.

— Значит, друг друга и будем тормозить, — говорю я. Климов завязывает папку; мы идём по настилу к близкому стартовому блиндажу.

Гордеев ждёт нас у стартового командного пункта — стоит без плащ-палатки, подняв воротник, и это значит, что он вышел на минуту, а стоит уже двадцать.

— Донесение видел, — говорит он вместо приветствия. — Что думаешь?

— Иду.

— Я не про «идёшь». Я про то, что у тебя час давности и вилка в полтора часа. — Он смотрит на Климова. — Диспетчер, вы ему это объяснили?

— Объяснил, — сухо отвечает Климов. — Он даже понял.

— А мне объясните ещё раз. Я человек военный, я привык, что если сказано «эшелон идёт», то он идёт.

Климов вздыхает и начинает то, что за неделю выучил уже весь полк:

— Товарищ капитан, он и идёт. Только он идёт по живой дороге. У них там однопутка с разъездами. Пропускают по очереди. Воинский пропустят вперёд — придёт раньше. Впереди него застрянет порожняк с дровами — простоят два часа и не тронется, хоть ты стреляй. Я вам сейчас назову точное время — вы по нему построите вылет, а потом придёте ко мне и спросите, где поезд. И я вам честно отвечу: не знаю.

— То есть можно и не найти.

— Можно и не найти, — говорю я.

Гордеев поворачивается ко мне.

— Тогда давай вслух. У меня в штабе завтра спросят, зачем я ночью погнал две машины и горючее, если результата нет. Что я им отвечу?

Вот это — правильный вопрос, и он его задаёт мне заранее, а не после, и за это я ему многое прощаю.

— Ответите так, — говорю я. — Что мы шли не за поездом.

— А за чем?

— За узлом. Поезд — это удача, а не задача. Задача — горловина и вода. Стрелки стоят на месте, они нас не ждут и никуда не уедут. Если эшелон подвернётся — мы его поймем этим же ударом, потому что ему предстоит пройти выходную горловину. Если не подвернется — мы всё равно закроем ему выход, и он встанет там, где нас нет.

Гордеев молчит, соображая. У него привычка проговаривать вслух то, с чем согласился.

— То есть ты бьёшь не по составу, а по тому месту, через которое любой состав обязан пройти.

— Именно. Климова неделю за это мучили.

— Меня и сейчас мучают, — говорит Климов.

— Хорошо. — Гордеев вытирает ладонью мокрое лицо. — Тогда последнее. Ты себе поиск урезал?

— Вдвое. Шесть минут.

— Мало.

— Мало, — соглашаюсь я. — Зато после них у меня хватит на два захода вместо одного. А если я буду двенадцать минут ползать над подходами и любоваться, у меня останется один заход, и он же будет последним, и я его буду делать в спешке.

Гордеев смотрит на часы.

— Иди. — И, уже в спину: — Иванов. Если найдёшь и если возьмёшь — не жадничай. Мне нужны обе машины утром, а не красивый доклад.

Я киваю, разворачиваюсь к машине. Мимо оружейников прохожу ещё раз.

Загрузку нам ставил Аркадий вместе со старшим оружейником — три дня назад, при Климове, и спор там был отдельный и долгий: диспетчер объяснял, что стрелочный перевод — штука мелкая и живучая, что по нему нужен не один большой, а несколько средних, и что водокачку, наоборот, одним средним не возьмёшь.

— Подвеска по списку? — спрашиваю.

— По списку, товарищ старший лейтенант. Всё, как штурман расписал. Взрыватели поставлены, я сам ставил.

— Замки?

— Проверены дважды.

Заглядываю в отсек сам, с фонарём. Не потому, что не верю; потому что через час я нажму на это всё, и если что-то не сойдёт, крутиться над узлом с висющим грузом буду не он.

Рябову поправку передаю не сам.

Его машины на дальнем краю, туда идти семь минут по грязи, а у меня этих минут нет. Тимка проходит мимо с часами в чехле, собираясь сверить их в радиорубке. Я окликаю его и прошу перед этим подойти к дежурному телефону. Он останавливается на краю настила, слушает:

— Передаёшь дословно: наблюдение в девятнадцать сорок, час давности, вилка полтора часа. Ищу шесть минут, не двенадцать. Разрыв между нами прежний, семь минут. Пусть подтвердит, что принял, своими словами, а не «понял».

— А если он спросит, что делать, если вы задержитесь?

Хороший вопрос. Тимка их в последнее время задаёт всё чаще, и я это люблю.

— Скажет — задержусь на минуту-две, пусть держит своё время. Он заходит на второе, не на первое. Ему мой сдвиг мешает только тогда, когда я влезу в его семь минут. Если пойму, что влезаю, дам сигнал.

— Если сдвиг помешает ему, передаём отдельно, — повторяет Тимка. — Остальное время прежнее.

Он убегает. На последней проверке Лида уже не поймала у него двоения после работы за приёмником и быстрого перевода взгляда; Тимка всё равно ставит ноги в темноте осторожнее, чем раньше.

Плешаков появляется из-под правой мотогондолы, вытирая руки о тряпку, которая грязнее его рук.

— Готово, — говорит он. — Оба прогреты, я их сам крутил. На малых держат ровно.

— Масло?

— Довёл до положенного уровня. Место для расширения оставил, как положено.

— Спасибо.

— Не за что. — Он смотрит на подвешенные бомбы, потом на меня. — Иванов. Вы там аккуратнее с режимами на высоте. Погода к ночи сырая, обледенения не обещали, но карбюраторы у нас с вами не молодые.

Это у Плешакова высшая форма нежности.

Плешаков забирает фонарь и уходит от крыла. Принятый отсек закрывают; я направляюсь к стремянке.

У стремянки стоит Лида.

Она стоит с кружкой, от которой идёт пар, и я сначала думаю, что это мне, а потом вижу, что кружку она держит двумя руками и греет об неё пальцы, и вообще она тут не по мою душу: за моей спиной, у соседней машины, кто-то из её людей бинтует мотористу палец.

— Замёрзнешь, — говорю я.

— Уже. — Она отрывается от наблюдения за перевязкой у соседней машины и смотрит на меня. — Климов прибежал?

— Прибежал.

— И что? Есть поезд?

— Есть поезд. Час назад был.

Лида кивает и делает глоток. У неё под глазами тени, которых днём не видно, а сейчас, при синем фонаре, видно всё.

— Ужин в два часа, — говорит она. — Для тех, кто вернётся. Я повару сказала — не греть заранее, а начинать, когда с постов дадут, что идут.

— Он опять будет ворчать.

— Он уже отворчал. — Она смотрит на меня поверх кружки. — Нога?

Я выпрямляю правую ногу, разгружая колено, и Лида сразу замечает движение.

— Стоит.

— Я не про «стоит». Я про то, что ты сегодня с утра восемь часов на макете прыгал.

— Лида, мне через десять минут запуск.

— Вот именно поэтому я спрашиваю сейчас, а не через десять минут. Через десять минут ты мне соврѣшь красивее.

Мы смотрим друг на друга секунды две, и я сдаюсь.

— К концу маршрута затечѣт. Как всегда. Педали держу.

— Вот это ответ. — Она отступает с дороги. — Иди. И передай Костенко, что если он ещё раз полезет в кабину, не застегнув свою лямку, я ему её пришью к куртке.

Федя, к слову, лямку застегнул. Он стоит у нижнего люка и в третий раз перекладывает ракеты — те самые, для аварийного сбора, которые мы условились жечь, если группа рассыплется и придётся собираться над запасной площадкой.

— Сколько?

— Четыре, — говорит он. — Две белых, две красных. Красные в правом кармане, чтоб на ощупь не путать.

— Проверял ракетницу?

— Три раза. — Он опускает голос и застѣгивает карман поверх уже убранной ракетницы. — Я знаю, что это глупо.

— Это не глупо. Глупо — это когда проверял один раз и год назад.

Литвинов уже в носу. Когда я подтягиваюсь в свою кабину, он оборачивается — видно только край лица и белое пятно карты.

— Ветер? — спрашиваю.

— Белова дала на высоте двести сорок, двенадцать. У земли слабее и левее.

— Тот же, что на макете разыгрывали?

— Тот же. Она его второй день караулит. — Аркадий поправляет карту под зажимом. — Паша, я одно скажу и замолчу. Час давности — это плохо, но не хуже, чем мы считали три дня назад, когда вообще без поезда шли. Не дѣргайся из-за вилки.

— Я и не дѣргаюсь.

— Дѣргаешься. У тебя голос стал на полтона выше.

Запуск. Левый берѣт сразу, правый чуть подумав. Колодки уходят из-под колѣс, и вместе с ними уходит всё, что осталось на земле: Климов со своей папкой, кружка Лиды, ворчливый повар, макет из ящиков и верѣвок, по которому мы неделю ходили пешком в темноте, считая интервалы между условными сигналами.

Я выруливаю первым. Ведомый первой пары держит назначенный интервал; по радио подтверждает, что идёт за нами. Другая пара останется за Рябовым.

Разбег по мокрому полю тяжѣлый, машина долго не хочет отдавать хвост, и я успеваю подумать ту мысль, которую думаю каждый раз и которую никому никогда не скажу: до чего же она всё-таки маленькая и простая, эта машина, и до чего в ней всё зависит от четырёх пар рук.

Потом земля отпускает, и начинается ночь.

Первый час — работа Литвинова и мои ноги.

Идѣм над облачностью нижнего яруса, которая тянется рванными полями, и в этих разрывах Аркадий выхватывает свои опоры: озеро, потом излучину, потом длинный тѣмный клин леса, который на карте выглядит как след от чьего-то ногтя. Каждый раз он молчит, считает, потом называет поправку.

— Три градуса вправо.

— Три вправо.

— Держи минуту.

Я держу. В наушниках шуршит эфир — Тимка слушает своё, у него окно связи через двадцать минут, и до окна он не лезет в передачу, только пишет. Федя внизу время от времени докладывает, что снизу пусто, и это самые скучные слова на свете, и пусть бы они звучали всю войну.

На двадцать второй минуте Тимка открывает своё первое окно.

— Земля слышит, — докладывает он. — Повторитель на месте, отвечает чисто.

— Второй?

— Второй в эфир не лезет. Идёт.

Значит, Рябов держит свои семь минут и своё молчание, и это тоже часть договорённости: до узла мы друг другу не мешаем даже голосом.

— Тимка, — говорю я, чтобы разговором согреть кабину. — Ты у нас третьего дня на разборе про ровные огни толковал. Долго тебя за это ели?

Пауза.

— Ели, — признаётся он. — Сказали, я по книжке говорю.

— По какой книжке?

— Не знаю. Так сказали. Что я, мол, сижу в наушниках и придумываю, как немцы должны воевать.

— А ты откуда взял?

— Из вашего же журнала, — говорит Тимка, и я слышу, что ему приятно, что спросили. — Там за август четыре записи, где кто-то видел «состав», а потом разведка ничего не подтвердила. Я посмотрел, что у них общего. У всех четырёх написано «огни ровной цепью». А в тех двух, где потом подтвердилось, написано по-другому: «редкие искры», «отсветы», «неровно».

— Вот это, Журавлёв, и называется по книжке, — говорит Литвинов из носа. — Только книжку ты написал сам, а они не читали.

— Так я же не утверждаю, что...

— Не утверждай, — перебиваю я. — Ты запомни одну вещь на всю войну: признак — не приговор. Увидишь ровную цепь — не ори «ложные». Скажи «ровно» и предложи проверить. Разница в два слова, а между ними — четыре чужих экипажа, которых зря обозвали слепыми.

— Понял.

Внизу Федя шумно возится.

— Костенко, ты чего гремишь?

— Ноги, — говорит он. — Не чувствую. Сейчас постучу — отпустит.

— Носки шерстяные надел?

— Надел. Две пары.

— Тогда стучи, — разрешаю я. — Только в обшивку не пробей, нам её потом заклёпывать.

— Я аккуратно.

Ночь под нами ровная, чёрная и очень большая. Сверху редкие звёзды в промоинах, внизу — то поле облаков, то чёрный провал. Мотор гудит, машина покачивается на своих невидимых ухабах, и в этой качке я на пару минут остаюсь один с довольно неудобной мыслью.

Мысль такая: то, чем мы сейчас занимаемся, — не подвиг и не приключение, а начало работы, которую придётся делать долго и одинаково. Один узел. Потом другой. Потом опять этот же, потому что его починят. И самое важное сегодня даже не поезд, а то, сможем ли мы к утру внятно рассказать, что именно видели, чтобы завтра третий экипаж не полез повторять наши ошибки.

Я знаю про себя, что такие мысли у меня появляются, когда становится холодно и когда до цели ещё далеко.

— Паша, — говорит Литвинов. — Ты там не спишь?

— Думаю.

— Не думай. Через шесть минут будешь мне нужен весь.

На пятидесятой минуте под нами становится темнее. Земля здесь чужая уже по-настоящему: ни одного огня, ни одной случайной искры, всё вылизано светомаскировкой, как стол перед проверкой.

Глава 4



— Подходим к району, — говорит Литвинов. — По расчёту через одиннадцать минут выхожу на первый ориентир.

— Принял одиннадцать.

И вот тут Тимка говорит:

— Командир. Слева тридцать, ниже нас. Огни.

Поворачиваю голову.

Они там, где их быть не должно, и они прекрасны.

Ровная цепочка жёлтых точек, уходящая в темноту наискось. Штук двенадцать, может, пятнадцать. Идут почти по тому направлению, которое мы ждём от эшелона, и на глаз — вот именно на первый жадный глаз — это и есть состав: паровоз, вагоны, приоткрытые двери теплушек, отсветы на насыпи.

У меня внутри всё встаёт на место с приятным щелчком. Вот он. Пришёл. Климов ошибся в хорошую сторону.

Рука уже кладёт машину в разворот, и я слышу собственный голос:

— Аркадий, бери. Захожу.

— Беру, — отвечает он.

И тут же, через полсекунды, тот же голос, но другой:

— погоди. Не ложись на боевой.

— Что?

— погоди, говорю.

Я держу разворот незаконченным и чувствую, как внутри поднимается злость — не на него, а на самую заминку. Каждая секунда сейчас на вес.

— Тимка, — говорит Литвинов, — ты их сколько наблюдаешь?

— С полминуты.

— Правильность видишь?

Пауза.

— Вижу, — говорит Тимка медленно. — Слишком ровно стоят. Интервал одинаковый.

Вот оно, то самое, о чём он третьего дня твердил на разборе и над чем над ним посмеивались: что настоящий состав никогда не бывает аккуратным, что у него в темноте одна щель шире, другая уже, что в середине обязательно тёмный кусок, где ничего не светится, потому что там платформы с накрытым грузом.

— Тимка, — говорю я, — правильность — это один признак. По одному признаку не объявляем.

— Так я и не объявляю, — быстро отвечает он. — Я докладываю признак. Обман я не подтверждаю.

Молодец. Не могу сейчас сказать ему, что молодец, скажу потом.

— Аркадий. Что по карте?

— Держи как идёшь, — говорит Литвинов. — Полторы минуты. Мне нужен контрольный промежуток.

Полторы минуты. Полторы минуты из шести, которые я себе отрезал на весь поиск.

— Держу.

Это очень длинные девяносто секунд. Я веду машину ровно, смотрю вперёд, а глаза сами косят влево, на эту чёртову цепочку, и мозг подсовывает мне удобную мысль: а ну как это он и есть, а ты сейчас отвернёшь, и он уйдёт, и всё зря.

— Тимка, — говорю, чтобы занять себя. — Отсвет на земле есть? Под огнями?

— Не вижу.

— Дым? Искры?

— Не вижу. Ровно горят.

— Хвост состава?

— Не различаю. Туда темно.

— Пятьдесят секунд, — говорит Литвинов.

Считаю про себя. Земля внизу медленно поворачивается. Из облачного разрыва выползает светлая полоса — река, и на реке тот самый изгиб, который у Аркадия отмечен как первый ориентир.

— Есть излучина, — говорит Литвинов. — Хорошо. Тимка, теперь смотри внимательно: огни относительно излучины двигаются?

Тимка молчит секунд десять.

— Нет.

— Точно нет?

— Точно. Крайний левый как стоял против самого колена, так и стоит.

Я чувствую, как у меня холодеет затылок.

Если бы там шёл поезд, за полторы минуты он сместился бы вдоль реки заметно даже с нашей высоты. Он бы поехал. А он стоит — и стоит ровно, всеми пятнадцатью точками сразу.

— Может, он остановился, — говорю я. Говорю сам, вслух, потому что кто-то должен сказать самое неудобное. — Стоит на перегоне и ждёт. Климов ровно про это и предупреждал.

— Может, — соглашается Литвинов. — Тогда второе. Паша, дай мне ещё двадцать секунд этого курса, я замерю подход.

— Даю.

Он там, в носу, сейчас делает свою штурманскую работу, которую я двадцать лет уважаю и которой никогда не умел: берёт направление на огни, привязывает к излучине, к клину леса, ко всему, что видит, и складывает с картой.

— Не сходится, — говорит он наконец.

— Как не сходится?

— А так. У меня по карте от этого колена реки до ближайшего пути — шесть километров и правее. Шесть. А эти огни — в трёх и левее. Там нет дороги, Паша. Там болото и просека.

— Ты уверен?

— Я уверен, что карта у меня трёхлетней давности и что новую ветку они могли положить. — Голос у него сухой. — Но новую ветку за месяц не кладут так, чтобы она шла поперёк болота ровной ниткой с одинаковыми интервалами огней. И на новой ветке в первую же ночь не гоняют воинский эшелон с открытыми фонарями.

Полторы минуты и двадцать секунд. Почти две.

— Отворачиваю, — говорю я.

И отворачиваю.

Это, если честно, самое поганое движение за весь вылет. Я увожу готовую машину с готового курса от цели, которую вижу глазами, ради того, чего не вижу вообще, — и увожу, зная, что за эти две минуты кто-то внизу сидит и радуется, что мы клюнули или не клюнули, и что у меня на поиск остаётся около четырёх минут.

— Тимка, — говорю. — Огни за нами продолжают гореть?

— Горят.

— Следи. Если погаснут сразу все разом — доложишь.

— А если погаснут, это что значит?

— Это значит, что ими кто-то управляет из одного места, — говорю я. — И значит, мы правильно ушли. Но это будет уже сведение на будущее, не на сегодня.

Через минуту он докладывает:

— Не гаснут.

— Понял. Пиши в журнал: цепь ровных огней, координаты по счислению, не совпадает с путём, за полторы минуты не сместились. Всё, дальше забыли.

Забить, конечно, не получается. Я ловлю себя на том, что дважды кошусь влево, будто цепочка может вдруг тронуться и доказать мне, что я дурак.

— Аркадий. Где мы и что у нас со временем?

— Мы в районе. Времени у нас четыре минуты поиска вместо шести. Спасибо ложным фонарям.

— Куда смотреть?

Литвинов отвечает не сразу. Я слышу, как он шуршит там картой.

— Слушай, — говорит он. — Я сейчас скажу, а ты не спорь сразу, дослушай. Мы его ищем не по всей линии. Мы его ищем там, где он мог притормозить.

— Разъезды?

— Разъезды и подход к узлу. Смотри: Климов говорил, что перед приёмом состав всегда сбавляет и часто вообще встаёт. Значит, самое вероятное место — не перегон, где он несётся, а последние километры перед горловиной. Там же и скорость малая, и он там дольше всего находится.

— То есть искать у себя под носом.

— То есть искать там, куда мы и так летим. — В его голосе появляется что-то похожее на веселье. — Это, Паша, называется удачное совпадение лени и расчёта.

— Веди.

Мы разворачиваемся на боевой подход и идём по нему медленно — я специально держу поменьше, чтобы у Литвинова было время смотреть, а у Тимки с Федей — шарить глазами по земле.

Земля молчит.

Тридцать секунд. Минута. Полторы. Ничего: тёмные поля, тёмный лес, тёмная нитка насыпи, которую Аркадий узнаёт по тому, как она режет опушку.

— Две минуты осталось, — говорит он.

— Вижу свет! — говорит Тимка. — Внизу справа, движется! Точки, одна за другой!

Я смотрю. Точки действительно движутся — цепочкой, с одинаковой скоростью, и у меня опять на секунду поднимается то самое.

— Аркадий?

— Дорога, — говорит Литвинов, даже не помедлив. — Шоссе. Оно у меня вот здесь, идёт рядом с путями километра четыре, потом отходит.

— Точно дорога?

— Точно. Смотри сам: они идут не по прямой. Их ведёт, как тропинку. Железная дорога так не гнётся на коротком.

— Автоколонна, — говорит Тимка со вздохом. — Опять не наше.

— Наше, — поправляю я. — Просто не сегодняшнее. Запиши: колонна, время, направление. Кому-нибудь пригодится.

— А нам?

— А нам сегодня нельзя. У нас груз расписан под стрелки и под воду, и если я его вывалю на грузовики, завтра здесь пройдёт эшелон, и все наши грузовики окажутся дешёвым удовольствием.

Собственно, это мне сейчас и приходится сказать самому себе, а не Тимке.

— Полторы минуты осталось, — говорит Литвинов.

Я уже начинаю складывать в голове второй вариант — бить горловину без поезда, — и в этот момент Федя говорит:

— Внизу искра. Одна. Слева, примерно... сорок.

— Где?

— Уже нет. Была одна, короткая.

— Аркадий, там что?

— Там насыпь и подход к приёмным. Держи курс.

Мы идём ещё двадцать секунд, и Федя говорит снова, и теперь голос у него другой — тот, который у стрелка появляется, когда он уже не сомневается:

— Есть масса. Тёмная. Длинная. Идёт вдоль насыпи, отсюда вижу край. Не пятно, а продолговатое.

— Движется?

— Кажется, да.

— «Кажется» — плохое слово, — говорю я. — Аркадий, бери отсчёт.

— Взял.

Вот тут я делаю то, что месяц назад сделал бы позже: я снижаюсь. Не героически — метров на четыреста, ровно настолько, чтобы у нижней точки открылся угол.

— Федя, теперь?

— Теперь вижу лучше. Длинная, тёмная, ровная. Есть отдельные... не знаю, как назвать. Бугорки. Как крыши.

— Дым видишь?

Пауза.

— Вижу, — говорит Федя. — Впереди неё, стелется. Не столбом. Полосой назад.

Дым сам по себе ещё ничего не доказывает: и стоящий паровоз ветер укроет шлейфом. Нужен отсчёт относительно земли.

— Аркадий, второй отсчёт.

— Считаю... — Он молчит десять секунд, которые тянутся как минута. — Сместилась. За двадцать пять секунд — на глаз метров двести пятьдесят. То есть под сорок в час, может, меньше.

— Медленно.

— Медленно, — подтверждает он. — Наш расчёт был на шестьдесят. Значит, он либо гружёный тяжело, либо его уже придерживают перед приёмом. И вот теперь, Паша, я тебе скажу главное: он идёт по правому пути. Тому самому, который через приёмные выводит к нашей выходной горловине.

Я ещё секунду держу.

Признаки: продолговатая масса, стелющийся назад дым, смещение за контрольный промежуток, правильный путь, правильное направление, короткая искра до этого. Ни одного из них поодиночке мне бы не хватило. Все вместе — хватает.

— Принимаю опознание, — говорю я. — Это он.

— Принимаю, — эхом отвечает Литвинов.

— Тимка. Окно связи когда?

— Через сорок секунд.

— В окно дай Рябову условный: «первый нашёл, времени хватает». И всё, ни слова больше.

— Понял.

Сорок секунд спустя он передаёт — короткой группой, которую мы утвердили ещё на земле, когда Рябов ворчал, что это ребячество, а Климов сказал, что у железнодорожников половина жизни на таких сигналах и держится.

— Принято, — говорит Тимка через минуту. — Он ответил своим. Держит своё время.

Значит, за спиной у меня, в семи минутах темноты, идёт вторая пара, и её ведущий сейчас точно знает: поезд есть, работать будем по полному варианту, и его насосная остаётся за ним.

— Аркадий. Дистанция до горловины?

— Двенадцать километров. Выходим на боевой через... — он считает, — сто десять секунд. Опоры прежние: излучина, потом светлое пятно пруда, потом дуга пути у переезда. От дуги — тридцать восемь секунд до точки.

— Повтори последнее.

— От дуги у переезда — тридцать восемь секунд.

— Принял тридцать восемь.

Я устраиваюсь. Правая нога уже ноет, но это фоновая, привычная боль, про которую в воздухе можно на время договориться. Машина идёт ровно. Литвинов притих и работает.

— Стрелки. Доклад коротко и по делу. Общего крика про огонь не хочу. Говорите, что именно и откуда.

— Верх чист, — говорит Тимка.

— Низ чист, — говорит Федя.

Излучина проходит под нами. Через сорок секунд слева выплывает светлое пятно — пруд, серебристый в остатке лунного света, и это такой подарок, что мне на секунду делается хорошо.

— Пруд вижу, — говорит Литвинов. — Точно по расчёту. Держи.

Дальше должна быть дуга у переезда.

Дуга не успевает.

Слева и чуть впереди из земли встаёт белый луч.

Он поднимается сразу почти вертикально, потом падает наискось, и тут же рядом с ним поднимается второй — и оба начинают шарить, и шарят они грамотно, разнесённо, накрывая сектор полосами.

— Свет слева, — докладывает Тимка. — Два. Один ближе к нам, второй дальше за путями.

Я не отворачиваю. Пока они шарят, отворачивать — значит помогать: перемена ракурса заметнее ровного хода.

Второй луч проходит в стороне. Первый идёт к нам — медленно, лениво, уверенно.

И цепляет.

Кабину заливает белым. Это как удар по глазам: секунду я вообще ничего не вижу, кроме собственных ресниц, и приборная доска пропадает в сплошном сиянии. Я успеваю подумать очень спокойную мысль — что сейчас по нам начнут работать, — и прежде мысли руки уже делают то, что делали руки Пашки, и то, что делал я тридцать лет: машина валится вправо и вниз, скорость растёт, луч соскальзывает.

Впереди и левее встают первые разрывы — мутные оранжевые кляксы, четыре, потом ещё четыре. Не по нам: по тому месту, где мы были бы, если бы шли как шли.

— Ушли из луча, — говорю. — Тимка, где они?

— Первый прожектор теперь позади нас и левее. Ведёт назад по нашему старому курсу. Второй работает выше.

— Огонь?

— Разрывы левее, отстают.

Хорошо. Дышим.

И только теперь до меня доходит, что я сделал с заходом.

— Аркадий.

В наушниках шорох бумаги и короткий стук; Аркадий возвращает под зажим съехавшую карту. Три секунды молчит.

— Аркадий!

— Слышу, — говорит Литвинов. — Не мешай.

Я закрываю рот.

Я знаю, что у него там сейчас. Он строил заход на цепочке: излучина — пруд — дуга у переезда — тридцать восемь секунд. У него всё было сцеплено, каждая опора держала следующую. А я только что выдернул машину из этой цепочки, ушёл вправо и вниз на неизвестное ему расстояние, и вся его конструкция рассыпалась, как рассыпается стопка карт, если выдернуть нижнюю.

Я сижу и злюсь.

Злюсь не на прожектор — прожектор делал свою работу и делал хорошо. Злюсь на то, что между «поймал луч» и «отвернул» у меня прошла лишняя секунда. Одна. Я знаю, откуда она взялась: я на эту секунду залюбовался, как красиво он идёт. Пятьдесят пять лет — то есть двадцать, сейчас двадцать, — а всё туда же.

— Так, — говорит Литвинов. — Слушай меня и делай ровно то, что говорю. Никакого «примерно туда».

— Слушаю.

— Старую команду забудь совсем. Тридцать восемь секунд от дуги больше не существует, у нас другой курс и другая скорость.

— Забыл.

— Последнее, что я подтверждал глазами, — пруд. Всё, что после него, я тебе насчитал, но не видел. Значит, начинаем от пруда.

— Пруд за спиной.

— Пруд за спиной, но он никуда не делся. Разворачивай влево, шестьдесят градусов, выводи и держи. Мне нужно опять его увидеть. Увижу — построю новый заход по факту.

— А время?

— А времени у нас теперь мало, — говорит он спокойно. — Поэтому давай не будем тратить его на разговоры о времени.

Разворот получается длинным. Внизу шарят лучи, где-то далеко справа лопаются разрывы — бьют по пустому месту, наугад, и это тоже понятно: зенитчики тоже люди и тоже не любят ждать.

— Есть пруд, — говорит наконец Литвинов, и у меня отпускает шея. — Вижу, слева двадцать. Паша, теперь так: ложись на курс, который я дам, и с этой секунды не меняй ни на градус без моей команды или без прямой угрозы. Если снова придётся уклоняться — уклоняйся, но сразу говори, куда и на сколько. Я буду пересчитывать на ходу.

— Понял. Курс.

Он даёт. Я ложусь.

— От пруда до дуги у переезда — пятьдесят пять секунд на этой скорости, — говорит Литвинов. — Дальше от дуги — сорок одна. Я пересчитал под ветер, он у нас теперь под другим углом.

— Принял пятьдесят пять и сорок одну.

— И вот что, — добавляет он. — Если я дуги не увижу — я тебе скажу «не вижу», и мы уйдём на второй заход. Не стану я тебе командовать сброс по счислению над узлом.

— Второго захода у нас, считай, нет.

— Знаю. Значит, будем очень стараться увидеть дугу.

Внизу что-то меняется.

Прожектора перестают шарить широко. Оба ложатся в один сектор и начинают работать частой, короткой сеткой — впереди по курсу, там, где горловина. Их теперь три; третий встал правее и бьёт почти горизонтально, вдоль путей, поперёк нашего подхода.

— Свет впереди, — говорит Тимка. — Три. Работают на подходе к узлу.

— Понял три.

— Командир... они как будто знают, откуда мы идём.

— Не знают. Догадываются. Они ждут захода на горловину, а зайти на неё удобно с двух-трёх сторон, вот их и кроют.

Это правда. И правда ещё и в том, что я сейчас веду машину ровно в тот сектор, который они закрывают, и другого способа нет, потому что цель — вот она, и она не переедет.

— Двадцать секунд до дуги, — говорит Литвинов.

Внизу начинает работать зенитка.

Глава 5



Сначала одна, потом сразу несколько. Разрывы встают ниже и левее, кучно, и по звуку — тяжёлые. Я не меняю режим. Машину подбрасывает на чужой волне, приборы скачут, и я ловлю их взглядом и держу.

— Десять секунд.

— Держу.

— Есть дуга! — говорит Литвинов, и в его сухом голосе прорывается что-то живое. — Вижу переезд, вижу изгиб. Паша, ты прелесть, держи ровно, сорок одна секунда пошла.

— Пошла.

Сорок одна секунда на прямой — это долго.

Это очень долго, когда внизу решили, что ты обязан по ней пройти, и когда каждая следующая серия ложится всё ближе, потому что человек у прибора внизу тоже профессионал и тоже вносит поправки.

Я держу режим, держу направление, держу высоту.

— Верх чист, — говорит Тимка. — Истребителей не наблюдаю.

— Низ: батарея левее по курсу, вспышки на земле, вторая правее дальше, — говорит Федя. — Ближняя бьёт с недолётом.

Вот это правильный доклад. Не «нас обстреливают», а кто именно, откуда и как ложится.

— Двадцать пять секунд, — говорит Литвинов.

Разрыв справа — близкий, рыжий, я вижу его целиком. Машину подкидывает и кладёт на крыло, и я выравниваю, не трогая курс, только парирую.

— Крен парирую, курс держу.

— Хорошо, — говорит Литвинов. — Пятнадцать.

Ещё серия. Одна из них лопается так близко, что звук приходит внутрь — не грохот, а короткий сухой хлопок, и сразу за ним по фюзеляжу проходит дробь, как будто кто-то швырнул в машину пригоршню гравия.

— Есть попадание, — докладывает Тимка, и голос у него ровный. — По корпусу, сзади от меня. Осколки.

— Люди?

— Цел.

— Федя?

— Цел. По низу тоже прошло, справа.

— Приборы в норме, — говорю я, пробежав взглядом. — Обороты, давление, температура — держатся. Идём дальше.

— Десять секунд, — говорит Литвинов.

Я держу.

Я держу эти последние десять секунд и знаю совершенно точно, зачем я их держу, и знаю, что держать я их буду ровно до тех пор, пока штурман не скажет своё слово, и ни одной секундой дольше. Ни одного лишнего прямого прохода. Ни одного «а давайте ещё раз, красиво получилось». Всё, что было нужно от моего мужества, я отдал в эти сорок одну секунду; дальше начнётся уже не мужество, а глупость.

— Пять... три... сброс!

Машина вздрагивает и легчает — тем особенным рывком вверх, который ни с чем не спутаешь.

— Ушли все, — говорит Литвинов.

Через назначенный интервал Тимка принимает сброс ведомого первой пары: тот тоже отработал по своему прицельному створу и отходит за реку.

— Ухожу.

И сразу — вправо, вниз, со снижением, меняя всё, что можно поменять: курс, высоту, режим. Не красиво. Быстро.

Разрывы встают там, где нас уже нет: ровным частоколом вдоль той прямой, по которой мы только что шли. Человек внизу опоздал на несколько секунд и теперь честно выкладывает их в пустоту.

— Тимка, доклад по хвосту.

— Свет ищет. Нас не держит. Огонь позади, отстаёт.

Секунд пятнадцать я просто веду машину и дышу.

Потом вспоминаю, что я командир, и делаю то, что положено делать после того, как по тебе попали.

— Доклад по местам. По очереди. Что у кого.

— Штурманская, — отзывается Литвинов. — Цел. Стекло целое. Карта на месте.

— Верхняя, — говорит Тимка. — Цел. Установка ходит, лента цела. По борту сзади от меня прошло — дырки есть, я их посчитаю на земле, сейчас не видно. Что вижу со своего места — держится, тяги рядом целы. За закрытую часть не скажу.

— Сквозняк?

— Есть немножко. Тянет.

— Терпи. Нижняя?

— Цел, — говорит Федя. — Люк держит. Установка ходит. Ко мне прошло правее и ниже, я слышал по обшивке, а куда — не скажу, темно. И по плоскости, по-моему, тоже стукнуло. Раза два.

— По какой?

— По правой. Может, по правой. Я звук слышал, а видеть не видел.

Смотрю на правое крыло. В темноте оно ровно такое же, каким было час назад: чёрная плоскость с дрожащим огоньком выхлопа за мотогондолой. Ничего не тянется, ничего не светится, ничего не хлопает.

— Приборы, — говорю я вслух, скорее для себя. — Обороты одинаковые. Давление масла на месте. Температура в норме. Управление... — я пробую по всем осям, коротко, — отвечает как отвечало.

— Значит, жить можно, — говорит Литвинов.

— Значит, жить можно. Дырки посчитаем, когда сядем. Плешаков нас за них съест.

— Он не за дырки ест, — замечает Тимка. — Он ест за то, что мы ему их привозим по две штуки за раз, а лист один.

— Вот именно поэтому и посчитаем на земле честно, а не «ну, там немного посекло».

Литвинов там, в носу, шуршит и щёлкает своей планшетной резинкой.

— Паша, я остаток считаю по времени и по расходу, — говорит он между делом. — С показаниями приборов потом сверю. На болтанке стрелки прыгают, но устойчивое расхождение пропускать нельзя.

— Считай по времени. Как всегда.

Потом Литвинов говорит:

— Смотрю результат. Не мешай.

На пологом развороте Аркадий смотрит вниз через боковое остекление, дожидаясь, когда район разрывов выйдет из-за плоскости.

— Что видишь? — не выдерживаю я через полминуты.

— Погоди.

— Аркадий.

— Сказал: погоди, я считаю вспышки.

Я замолкаю. За спиной у нас разгорается — сначала тускло, потом сильнее. Из нижней точки докладывает Федя:

— Горит в районе горловины. Два очага, близко один к другому. Третий дальше и слабее.

— Теперь скажу, — говорит Литвинов. — Разрывы легли по горловине, компактно. Вижу огонь, вижу подсвеченный дым. По двум путям, которые шли вдоль, движения нет. Там что-то стояло и светилось — я думаю, маневровый или дрезина, — и оно встало и не идёт.

— То есть попали.

— То есть попали в район, — поправляет он немедленно. — Паша, давай сразу договоримся, как будем докладывать, чтобы потом не переписывать. Я видел: разрывы в горловине, пожар, остановка того, что двигалось. Я не видел: сколько стрелок разбито, целы ли переводы, можно ли пропустить состав по третьему пути.

— С высоты этого и не увидишь.

— Вот именно. Поэтому я и говорю. А то напишем «горловина уничтожена», а у них завтра к обеду по уцелевшему пути пойдут вагоны, и Климов нам скажет, что мы ничего не понимаем в его хозяйстве.

Он прав, и от этой правоты немного тускнеет удовольствие, и это правильно.

— Тогда так и передадим. — Я щёлкаю на связь. — Тимка. Рябову, коротко: горловина накрыта, пожар, движение встало. Добавь: результат по стрелкам не подтверждён.

— Так и передать? Прямо «не подтверждён»?

— Прямо так. Он не барышня, не обидится.

Пауза.

— Передал. — И через полминуты: — Принял. Ответил: «иду по времени, работаю по второй».

Я смотрю на часы.

Мы отбомбились с задержкой почти в три минуты против плана — и это, если считать по-честному, не вина прожектора, а цена той секунды, которую я подарил красивому лучу, плюс цена ложных фонарей. Рябов держит согласованный коридор, но о нашей задержке должен знать сейчас: после неё до его входа осталось четыре минуты.

— Тимка, передай фактический сброс и выход обеих наших машин. Пусть подтвердит, что разошлись. Если нужно — переносит вход.

— Передал... Принял. Вход отложил на три минуты, сохранит семь от нашего сброса.

— Аркадий, дым куда сносит?

— По верху на восток, — говорит Литвинов, помолчав. — По верху — как Белова обещала. А внизу... внизу он цепляется. Видишь? Стелется вдоль путей и не хочет уходить.

Я вижу. Пожар в горловине даёт не столб, а длинное лежачее пятно, которое медленно расплзается на юго-восток — как раз в сторону насосной.

Нехорошо.

— Тимка, ещё одну Рябову. Прямо сейчас, не в окно. Текст: дым стелется низом к юго-востоку, вторая точка может быть закрыта.

— Понял.

Передача уходит.

И вот теперь начинается самое трудное, что есть в командирской работе, и чему меня жизнь учила дольше всего: я разворачиваю машину на широкий круг в стороне от узла, на безопасном удалении, и не делаю больше ничего.

Совсем ничего.

У меня пустой бомбовый отсек, повреждённая осколками обшивка неизвестно где, три минуты просроченного графика и полное отсутствие возможности помочь человеку, который сейчас идёт на цель в семи минутах позади.

— Что делаем? — спрашивает Тимка.

— Ждём, — говорю я. — Ты слушаешь. Федя смотрит вниз. Аркадий считает наш обратный маршрут и остаток. Я держу круг.

— Приём держу, — отвечает Тимка. — Если сменит заход, передаст через землю.

Проходит четыре минуты.

Внизу продолжает гореть горловина. Прожекторы больше не шарят широко — один стоит почти вертикально, подсвечивая дым снизу, и от этого вся картина делается похожей на что-то театральное.

— Командир, — говорит Федя. — На путях восточнее движение. Мелкое. Как будто люди.

— Понял. Не наше дело.

— Я просто докладываю.

— Правильно докладываешь.

Луч внизу вдруг ложится плашмя и начинает выходить из-под дыма наружу — вправо, вправо, широкой медленной дугой, прощупывая небо далеко за узлом.

Ищут не Рябова. Рябова они ещё не слышат. Ищут того, кто крутится рядом и не уходит. То есть нас.

— Отхожу, — говорю я и увожу круг дальше, километра на три, держась с дальней стороны того клина леса, который Аркадий утром на карте называл «ногтем». Лес здесь только ориентир, от луча на нашей высоте он не укроет. — Аркадий, следи, чтобы я не залез в его небо.

— Не залезешь. Он пойдёт с запада, ты сейчас на юго-востоке.

— Сколько мне ещё держаться?

— По расчёту три минуты. — Он молчит секунду. — Паша, я тебе на всякий случай скажу цифру, чтобы ты её не выдумывал. Десять минут на таком круге съедят больше, чем десять минут прямого маршрута. Больше десяти минут я тебе крутиться не советую.

— Понял. Больше десяти и не буду.

Это, если честно, самое трудное место сегодняшней ночи.

Не сорок одна секунда на боевом. Там всё просто: держи и не дёргайся, и всё внутри тебя занято работой, и бояться некогда. А вот так — кругами, с пустым брюхом, в стороне, и знать, что через три минуты в этот самый огонь пойдёт человек, которому ты ничем не можешь, — вот это по-настоящему противно.

Я перебираю в голове, что могу сделать, и раз за разом получаю одно: ничего.

Подсветить ему цель? Он её видит лучше меня, он к ней подходит, а я от неё ухожу. Отвлечь на себя зенитки? Красиво в книжке, а на деле я уведу за собой один прожектор из трёх и потеряю машину с пустым отсеком. Подсказать заход? У него два подготовленных варианта, и оба выбирал он сам, и выбирал под свою скорость и свои привычки; если я сейчас влезу с советом, он будет слушать меня вместо земли.

Остаётся сидеть и держать круг.

Тридцать лет назад — то есть в другой жизни, о которой тут знать некому, — я думал, что командир отличается от лётчика тем, что больше решает. А отличается он тем, что больше ждёт.

— Командир, — говорит Тимка тихо. — А если у него не пойдёт?

— Тогда он даст на землю и уйдёт.

— А мы?

— А мы пойдём домой. У нас пусто.

— Как-то оно... Мы уже уходим, а он ещё там, — договаривает Тимка.

— Как-то оно так, — соглашаюсь я. — Ты, если хочешь помочь, слушай эфир и не пропусти его. Это единственное, что мы для него сегодня можем.

Проходит ещё три.

— Должен подойти, — говорит Литвинов.

— Должен.

И почти сразу Тимка:

— Слышу его. Работает.

Разрывы мы видим издали.

Они ложатся не там, где я их ждал, — не на западном заходе вдоль путей, как мы репетировали на макете, а с севера, поперёк прежнего подхода.

— Он зашёл с другой стороны, — говорит Литвинов.

— Вижу.

Вспышки — четыре, пять, потом ещё. Потом поднимается новое зарево, отдельное от первого, и вот оно как раз идёт вверх столбом, широко.

— Есть, — говорит Федя. — Второй пожар. Юго-восточнее первого. Сильный.

— Тимка, что от него?

— Передаёт.

Пауза. Долгая. Тимка пишет.

— Читаю дословно: «Отработал. Заходил вторым вариантом, с севера. Дым не пустил с запада. Опоры видел: элеватор и река. Точку подтвердил. Разрывы по насосной. Ухожу».

Я закрываю глаза на секунду.

Вот это — то, ради чего мы неделю ходили пешком по макету из ящиков и веревок и считали шаги между условными сигналами. Не для того, чтобы он выполнил мою команду. Для того, чтобы он в темноте, один, в семи минутах от меня, увидел, что запад закрыт дымом, и не стал ломиться в него ради красивого совпадения с планом, а взял свой второй вариант, у которого были свои опоры.

— Ответь ему, — говорю я. — Текст: «Принял. Выход общий, как условлено. Сбор не нужен». И всё.

— Точно всё? — уточняет Тимка.

— Точно. Хвалить его будем на земле, при людях. В воздухе хвалить — только эфир занимать.

— Есть.

— Аркадий, обратный.

— Готов. Через минуту ложимся.

И вот на этой минуте, когда мы уже развернулись и я потихоньку добавляю режим, чтобы уходить, Федя говорит:

— Командир. Внизу что-то есть. Дайте мне ещё секунд двадцать этого курса.

— Что видишь?

— Пока не пойму. Слева под нами, у приёмных путей. Шевелится.

Я держу.

— Стекло затянуло, сейчас протру... — Голос Феи на секунду глохнет, затем возвращается. — Вижу. Тёмная длинная масса. Как та. Только она... она не идёт.

— Стоит?

— Она останавливается, — говорит Федя, и я слышу, как он там, внизу, почти вжимается в своё стекло. — Командир, она сейчас останавливается. Я вижу край и вижу, что он... поджимается. Как гармошка.

— Аркадий!

— Смотрю, — отзывается Литвинов.

— Есть вспышки! — говорит Федя. — Две. Нет, три. Внизу, у самой земли. Короткие, белые. И искры полосой.

— Где именно?

— На боковом пути, левее основного. Куда его, наверное, приняли.

Я разворачиваю машину на пологий вираж — не для атаки, атаковать нечем, а чтобы у Феи было время.

— Ещё вижу, — говорит он. — Часть массы сместилась вбок от линии. Вот вижу край, он теперь не на одной линии с остальным. И там темнее, и оттуда пыль или дым, снизу.

— Толчок вагонов, — говорит Литвинов негромко.

— Что?

— Состав на ходу тормозит и упирается в то, что впереди. Сзади набегает. Один-два вагона уходят с линии. Это, Паша, если по-простому, называется «поехали в кучу».

— Федя. — Я говорю очень чётко, потому что от этого зависит, что мы завтра напишем. — Слушай внимательно. Ты видел вспышки, ты видел, что часть состава сошла с линии, ты видел искры и пыль. Это ты видел?

— Это видел.

— Ты можешь сказать, сколько вагонов разбито?

Пауза.

— Нет.

— Ты можешь сказать, что это тот самый эшелон?

— Нет, — говорит Федя честно. — Я могу сказать, что это длинная масса на том пути, где мы его вели, и что она встала и её помяло.

— Вот это и есть твой доклад. Молодец.

— Я бы очень хотел сказать, что это он, — говорит Федя.

— Я бы тоже. Мы оба скажем это завтра, если разведка подтвердит.

Литвинов уже работает.

— Время — двадцать три ноль девять, — диктует он сам себе вслух, и я слышу, как скрипит карандаш. — Место: боковой путь у приёмных, вот здесь, отметил. Признаки: оста-

новка, сход с линии, вспышки, пыль. Наблюдатель — Костенко, нижняя точка. Всё, записал. Паша, уходим, я больше ничего отсюда не вытащу.

Я кладу машину на обратный курс.

Подо мной остаётся горящая горловина, отдельное зарево от водокачки и длинная тёмная масса, которая сегодня ночью не пройдёт этот узел.

Хочется посмотреть ещё раз. Хочется пройти над этим пожаром — просто чтобы увидеть, как оно всё горит, и увезти с собой картинку, и потом на земле рассказывать, размахивая руками. Я знаю в себе это желание давно и знаю ему цену: раз в жизни оно кому-то стоило машины и четверых.

— Уходим, — говорю я вслух, скорее себе, чем экипажу. — Смотреть нечего. Мы своё сделали.

— Обратный курс двести семьдесят пять, — говорит Литвинов. — Через шесть минут выйдем на озеро, от него по старым опорам.

— Двести семьдесят пять.

Тимка докладывает, что Рябов ушёл и связь с ним чистая.

Федя докладывает, что низ пустой.

Машина идёт ровно. Приборы стоят там, где им положено. Правое колено начинает наливать той самой тупой тяжестью, о которой я предупреждал Лиду, и я переставляю пятку ближе к оси педали, как привык.

За спиной остаётся узел, который сегодня не пропустил то, что должен был пропустить. Насколько не пропустил и надолго ли — я не знаю. И никто из нас четверых не знает, и до утра не узнает никто.

— Аркадий, — говорю я. — Остаток?

— Считаю, — отвечает он. — Через пару минут скажу точно.

Глава 6



Уходим мы от узла хорошо: с разворотом на запад по курсу двести семьдесят пять, под нижнюю кромку, и первые двадцать минут всё в этом полёте устроено так, как я люблю. Машина идёт ровно, моторы тянут на одинаковых оборотах, внизу проплывает чернота с редкими бледными пятнами тумана над низинами, а у меня в голове сидит картинка застрявшего эшелона и вспышки на запасном пути, которые видел Федя.

Хорошее настроение на обратном маршруте — самая дорогая вещь на войне. За неё, как правило, потом платят.

Счёт начинается на сорок второй минуте, и начинает его Литвинов.

— Паша. Цифру скажи.

— Какую?

— По правой группе. Прочти вслух, не по памяти.

Я читаю. Прибор — поплавковый, дёрганный, ночью его показания надо усреднять глазом, и мы к этому привыкли.

Литвинов молчит секунды три. Потом говорит с той особенной вежливостью, которая у него означает, что дело плохо:

— Значит, штурман ошибся, — говорит он про себя.

— В чём?

— В том, что у нас должно быть на сто двадцать больше. — Он шуршит, укладывая планшет удобнее под правое предплечье. — Я веду по времени и режиму от старта, с поправкой на тот участок, где ты ходил на повышенном. По моему счёту в правой группе сейчас должно быть примерно на сто двадцать литров больше, чем ты прочёл.

— Прибор врёт.

— Может.

— Ты сам говоришь: он ночью прыгает.

— Прыгает. — Литвинов делает паузу. — Он прыгает вокруг цифры, Паша. А эта цифра ушла и назад не возвращается. Я за ней десять минут смотрю.

Вот тут у меня хорошее настроение и заканчивается.

Не от испуга — от арифметики. Сто двадцать литров за час — это, если оно так и пойдёт дальше, часть запаса на возвращение, вычтенная из моей жизни без спроса.

— Проверяем, — говорю я. — Аркадий, читай мне все, по очереди, а я буду отвечать. Мы читаем.

Это занимает минут шесть, потому что делать надо не быстро, а правильно: он называет группу, я читаю прибор, он записывает, потом мы ждём и повторяем. За шесть минут получается вот что: левая группа садится ровно так, как положено при нашем режиме. Правая — быстрее. Не вдвое, не катастрофически. Процентом на тридцать быстрее, чем должна бы.

Тридцать процентов — это очень неприятная величина. Она слишком мала, чтобы сказать «пробит бак, всё ясно», и слишком велика, чтобы списать на прибор и лететь дальше со спокойной совестью.

— Журавлёв, — говорю я в СПУ.

— Слушаю.

— Запах?

Пауза.

— Сейчас. — Ещё пауза, дольше. Он там, я знаю, поднимает лицо и дышит носом, как собака, и при этом старается не крутить головой резко, потому что он ещё бережёт себя после прежнего двоения. — Есть, товарищ старший лейтенант. Не сильно. Но есть.

— Давно?

— Я его минут двадцать чувствую. — И, немного виновато: — Я думал, это от меня. Я у бомболюка перед вылетом стоял, там разлили.

— Не «думал», а «есть запах, источник не установлен». Так и докладывай.

— Есть запах, источник не установлен.

— Костенко.

— Я.

— Посмотри на правую плоскость снизу. Не на мотор. По нижней обшивке, за мотогондолой, ближе к корню.

Федя молчит секунд пятнадцать. У него внизу свой мир: узкий, тесный, с ледяным сквозняком и с обзором, которого никогда не хватает.

— Темно, — говорит он наконец. — Луны нет. Я так не разгляжу.

— На фоне выхлопа посмотри. Когда газ дам — у меня из патрубков подсветит.

— Понял.

Я осторожно, на несколько секунд, прибавляю правому. Пламя из выхлопных патрубков делается длиннее и ярче, и в этом коротком рыжем свете, который ложится назад вдоль крыла, Федя должен увидеть то, чего я боюсь.

— Есть, — говорит он. И потом громче, на полтона выше: — Есть, командир! Полоса! По обшивке, от корня и назад, мокрое, блестит. Не капает — стелется.

— Ширина?

— С ладонь. Может, шире. Она за хвост уходит, я конца не вижу.

Значит, не прибор.

Я убираю газ обратно и секунду сижу, положив руки на штурвал, и чувствую, как внутри поднимается злость. Не страх — злость. Мы полтора часа назад положили серию именно туда, куда собирались, Рябов через семь минут добавил по насосной, эшелон встал, и всё это было сделано настолько чисто, насколько вообще бывает. А теперь я сижу и считаю литры, как счетовод.

Злость эту надо отработать быстро, пока она не начала принимать решения вместо меня.

— Работаем, — говорю я. — Аркадий, слушай последовательность. Я перекрываю правую группу. Питаю оба от левой. Ты по часам засекаешь и смотришь, останавливается ли падение справа.

— Засёк.

Кран идёт туго — он всегда идёт туго, у меня к нему претензия ещё с августа. Я перекрываю и слушаю моторы: те, что должны были поперхнуться, не поперхнулись. Хорошо.

Три минуты мы висим в темноте и смотрим на приборы. Это очень длинные три минуты.

— Справа падение замедлилось, — говорит Литвинов. — Моторы эту группу больше не расходуют. Но за три минуты на приборе малую течь не различить.

— Значит, остановку утечки не считаем доказанной. Если пробит бак, кран дырку не закрое.

— Именно. Левую считаю под оба мотора; правую в доступный запас не включаю.

— Федя, нового к мотору не тянет?

— Свежего не различаю. Темно. Полоса на обшивке ещё есть.

— Хорошо.

И вот теперь — счёт.

— Аркадий. Что у нас осталось и сколько это в минутах.

Он считает вслух. Я слушаю и параллельно считаю сам, потому что за штурманом в таких вопросах надо идти след в след — не из недоверия, а потому что вдвоём мы ошибаемся реже.

— Левая группа, — говорит он. — Со всеми поправками и с тем, что я не верю приборам больше, чем на глаз: около трёхсот шестидесяти. Правая: если она не пустая, то я её не считаю, потому что не знаю, сколько там уйдёт, пока мы её не тронули.

— Не считай.

— Не считаю. Триста шестьдесят. На нынешнем режиме — около сорока восьми минут. На экономическом — примерно час. Оставляя неприкосновенную часть, имеем сорок пять рабочих минут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.